

АСЕЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 5 ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1964

НИКОЛАЙ

АСЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ 1941 · 1963

ПЕРЕВОДЫ

P2
A90

Стихотворения

Великая Отечественная 1941—1945

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Война в наши двери стучится,
предательски ломит в окно, —
ну что же, ведь это случиться
когда-нибудь было должно!

Об этом и в песнях мы пели,
и думали столько годов:
за нами высокие цели,
чтоб каждый был драться готов...

Охвачена мыслью одною,
всей массой объединена,
встает большевистской стеною
взволнованная страна.

Не будем ни хвастать, ни охать:
нам в мире с фашизмом — не быть;
кровавую руку — по локоть
должны мы ему обрубить.

Вперед — и без останова!
Фашизм разгромим навсегда,
чтоб это проклятое слово
исчезло с земли без следа;

Чтоб эти кровавые руки
детей не пугали в ночах;
чтоб ихней звериной науки
погас зараженный очаг.

Вперед — и победа за нами,
за славной советской самой —
гордящейся сыновьями
двухсотмиллионной семьей!

23 июня 1941 г.

ГИЕНА

Он хочет
с Наполеоном
сравняться, потея...
Но тот
был действительно зорок и храбр,
а у этого
в его чудовищные затеи
вложены
только ложь и нахрап.
На того
заглядывались пирамиды,
величественные
свидетельницы веков,
а на этого —
горы убитых
женщин
и стариков.
Мечтает он
походить на Аттилу,
но того
потоком времени мчало вперед,
а на этого
сумасшествие накатило,
и он —
против времени прет.
Не поставишь с ним рядом
и Чингисхана...

Без всяких особых красот
любое имя
                    рядом с ним благоуханно, —
так от Гитлера
                        тленом несет!
Представьте его —
                            пред Тимуром:
вот, дескать,
                    вздумал приблизиться к вам!
Тимур на него
                        поглядел бы хмуро
и — плетью
                    расшиб пополам.
Не тревожьте
                    древние тени:
как бы ни были
                        они жестоки́,
какие б ни делали
                            опустошенья, —
этот —
            не из таких!
Несовместимы гений
                                с гниеньем!
А этот,
            пока не начало рассветать,
только и умеет,
                        что по-гиеньи
спящих
            за глотку хватать.
Вот он
            на нашей показался дороге...
Небо!
        расколись от артиллерийских гроз!
Красная Армия!
                        переломай ему ноги,
чтоб он отсюда
                        и костей не унес!

30 июня 1941 г.

* * *

Наши силы —
неисчислимы,
но,
чтоб направить их против врага,
чтоб били они в цель,
а не мимо, —
жизнь,
по-военному стань строга!
Благодушье
с дороги сбросим,
худую траву —
из поля вон.
В того,
кто беспечен,
вглядимся и спросим:
кто он?
Прямо — на слове —
не словишь труса...
Мы,
как горючее с чердаков,
выбьем
огнеопасный мусор
из голов
паникеров и дураков.
У страха —
не глаза велики,
а рот,

не потакай
фантазии шаткой;
если слышишь,
что кто-нибудь врет, —
рот
затыкай ему шапкой.
Каждое утро,
вставая с постели, —
пола
еще не коснулась нога, —
помни об общей
единственной цели:
как
расшибить врага!
Узнаем друг друга
не по наряду, —
тех,
кто близок
и верен нам, —
по твердому шагу,
по смелому взгляду,
по крепко сжатым губам!..

1941

НАШИ ГЕРОИ

Что пред этим
битвы Трои,
что времен
давнишних рать?!
Вот герои —
так герои,
это
надо рассказать!
Эй,
герои битв былого,
полюбуйтесь
на внучат:
как
невыдуманно ново
эти подвиги
звучат!
До конца
с врагом бороться,
до последних пуль
в стволе.
А потом,
Степан Здоровцев,
притарань
врага к земле.
Нам —
великая порука
эта
воинская честь.

Лейтепант
Михайло Жуков
в грязь
врага заставил сесть.
Будем гнать
до их притонов,
в небо кинув
сотни звезд,
как товарищ Харитонов,
обрубив
фашистам хвост.
Бейтесь крепче,
соколята,
рвитесь в гущу,
ястребки,
чтоб
у недругов проклятых
стали
руки коротки!
Это —
только первых трое.
Юность
в быль переросла.
А за ними —
ввысь, герои,
в бой, герои,
без числа!

11 июля 1941 г.

МОСКВА ОПОЛЧАЕТСЯ

Подтянулась Москва,
погрознела,
город
в руки оружье берет;
за великое
общее дело
в полный рост
ополчился народ.
Воротник
украинской рубашки,
козырек
полотняной фуражки
подровнялись,
построились в ряд,
незнакомец —
стал близок как брат.
Сотни
самых профессий сидячих
взяли на плечи
бремя войны;
разбираться
в военных задачах
добровольно
желают они.
Бухгалтерия —
рядом с ученым,
с лаборантом —
бок о бок монтер;

сердце в сердце,
потоком сплоченным
люди строек,
прилавков,
контор.
Будто что-то
тебе помогает,
если рядом с тобою —
шагает
человек,
тебе ставший сродни,
разделяющий
вровную дни.
Посмотрите в глаза
этим людям:
их упорная дума
строга, —
всем напором,
всей тяжестью будем
нажимать
и давить на врага.
Здесь никто
от испуга не прячет
под подушку
лица своего.
Бой
не нашею волею начат, —
нашей славой
закончим его!
Облетай по шеренгам
команда:
«Рота, смирно!
Повзводно вперед!»
Это двинулась с места
громада,
это —
город оружье берет!

12 июля 1941 г.

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

Пока Москва
обнесена
ночного сумрака стеною,
пока, усталая, она
объята сном и тишиною, —
огромный город
тих в ночи,
как наработавшийся
улей.
И только
светятся лучи
ночных
недремлющих
патрулей.

Курантов
смолк последний звук.
Затихли рынки
и вокзалы,
трамваи
свой замкнули круг...
Спешит
прохожий
запоздалый.

Куда он
направляет шаг?
Где запоздал?

Чего желает?
Внезапно вспыхнувший
впотьмах
его
фонарик освещает.

И света
тоненькая нить
на вас
свой луч
пытливо бросит,
и — документы
предъявить
вас
голос вежливый
попросит.

И если
мирный гражданин
спешит домой
своей дорогой, —
поторопись!
Но ни один
враг
не минует
кары строгой!

Сторожевых частей
войскам
немало
ведомо примеров,
как охраняется
Москва,
им
свой ночной покой
доверив.

Змеей
не проползти беде
под человечьим
зорким взглядом, —

везде
войска НКВД
ее
к земле
прибьют прикладом.

И мышью
ей не проскользнуть:
из мрака выловивши,
ярок
везде ей
перережет путь
внезапно вспыхнувший
фонарик.

Ни наших рук,
ни наших пуль
не обойти
уловке вражьей:
ночной
сторожевой патруль
повсюду
бодрствует на страже.

И, пробираясь
из засад,
изловленный
ночным патрулем,
поднимет руки
диверсант
под пристальным
бессонным дулом.

Плеснет
серебряная трель,
осветятся
сияньем лица...
Спокойно стой,
великий Кремль!
Спокойно отдыхай,
столица!

Со всех застав,
со всех концов,
на миг
не сморенные снами,
следят
глаза твоих бойцов
за промелькнувшими тенями.

Не проползти змеей
беде
под человечьим
зорким взглядом. —
ее
войска НКВД
прибьют
к земле
тугим прикладом!

1941

ПОЛЕТ ПУЛЬ

Ребенок вдали закричал:
«Не надо, не надо, не надо!»
Пронзительный крик отвечал
на то, чему сердце не радо;

На то, чему чужды зрачки,
и губы, и руки, и ноги;
разодрано время в клочки
стенаньем воздушной тревоги.

Вот так начиналась война,
пред нею — все звуки не громки:
качнется квартиры стена,
и рухнут на плечи обломки.

Ударит тяжелый снаряд,
размечет железо и камень, —
и старые стены горят,
нетронутые веками.

Все стало непрочным, как дым,
и думалось горестно людям:
«Умрем или победим!»
Мы этих времен не забудем.

Потом мы привыкли к войне
и стали носить ее имя,
и стали, обычны вполне,
детали ее — бытовыми.

Набухши ее молоком,
дыханьем ее ядовитым,
мы взгляд устремляли мельком
к обманам ее и обидам.

Мы стали до губ тяжелеть
под всем, что на сердце сгружалось.
Железо ли надо жалеть?
Железо не знает про жалость!

И только на душах налет,
как бы от гранильного шлака,
ее непомерных тягот,
ее несводимого знака.

Мы сами втянулись в валы
стальных и железных прокатов
и сами вложились в стволы
нацеленных автоматов.

Поэтому — неотвратим —
растет наш напор, прибывая;
мы сами, как пули, летим,
сквозь воздух летим, запевая:

Сквозь время летим и поем
и светимся сами от пенья —
о самом большом, о своем
предел перешедшем терпенье.

Уже нас назад не вернуть,
мы порохом пущены в дело,
навеки проложенный путь
должны долететь до предела.

Рукой нас теперь не словить,
как взмывшую в небо комету,
бронею не остановить, —
на свете брони такой нету.

Мы на́сквозь ее просверлим,
куда бы враги ни засели,
покуда не дрогнет Берлин,
пока не ударим по цели!

1941

КОНТРАТАКА

Стрелок следил
во все глаза
за наступленьем неприятеля,
а на винтовку стрекоза
крыло хрустальное приладила.

И разобрал пехоту смех
на странные
природы действия, —
при обстоятельствах
при всех
блистающей,
как в годы детские.

И вот —
сама шагай нога —
так в наступленье
цепи хлынули,
и откатилась тень врага
назад
обломанными крыльями.

И грянул сверху бомбовоз
и батареи
зев разинули —
за синь небес,
за бархат роз,
за счастья
крылья стрекозиные.

1941

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ

Немало тревоги,
немало досад
врагу причиняет
воздушный десант.

Отважные люди,
отборный народ
скрываются в люки:
прощай, самолет!

Четыре гранаты,
один автомат
немало, ребята,
врагов истребят.

За каждого нашего
их — пятьдесят, —
ведет свои счеты
воздушный десант.

Послушайте, случай
какой был с одним —
с пушинкой летучей —
с бойцом молодым.

Заметили гансы,
что парня с высот
на ихнии линии
ветер несет.

Секунда и — пули,
прошив парашют,
десантнику саван
из шелка сошьют.

Замешкались немцы,
глотают слюну:
пускай опускается
в ихнем плену.

Зарядов не тратя, —
попробуй присядь, —
повесят на стропах
воздушный десант.

Гранаты на взводе,
подмоги не ждать —
на всем небосводе
своих не видать.

Он с лету гранату
швыряет в окоп, —
у фрицев глаза
вылезают на лоб.

Он с ходу вторую,
коснувшись земли, —
враги врассыпную
в кусты поползли.

Отцеплены стропы,
приклад на весу...
Родимые тропы
скрывают в лесу.

Четыре гранаты,
один автомат
немало, ребята,
врагов истребят.

За каждого нашего
их — пятьдесят, —
ведет свои счеты
воздушный десант.

Июнь 1942 г.

СПАСИТЕ, БРАТЬЯ!

Шумят дубы и березы
шатром тяжелых ветвей.
Кипят сиротские слезы
на лицах жен и детей.

Кипят, следы выжигают
в сыпучем сером песке...
Как трудно они шагают
по горькой дороге-тоске!

Идут сквозь мелкий осинник
под дулом стервячьих стай;
их с места сорвал насильник,
их гонят в немецкий край.

Во мгле ночей воробьиных,
в дыму спаленных станиц
горит их кровь на рябинах
до самых наших границ.

Мелькает сизоворонка
зеркальным синим пером.
Плывет родная сторонка
в тумане утра сыром.

Спасите, братья, спасите!
Снимите ярмо с плечей!
Горячей пулей скосите
бездушных их палачей!

Не дайте своих в обиду,
подняться дайте с колен!
Уж лучше нам быть убиту,
чем видеть их страшный плен.

Мы горе свое взнуздаем,
осилим беду свою,
чтоб вновь светила звезда им
в освобожденном краю.

Чтоб снова они вернулись,
наполнивши шумом тишь,
чтоб стали порядки улиц
светлее от новых крыш.

Чтоб нас они — не укоряли,
проклятья тихо шепча,
что мы их жизнь потеряли,
оставив у палача.

Шумят дубы и березы
шатром осенних ветвей.
Кипят сиротские слезы
на лицах жен и детей.

Спасите, братья, спасите!
Снимите ярмо с плечей!
Горячей пулей скосите
насильников-палачей!

13 сентября 1942 г.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО С НАМИ!

Слушай веское слово!
Слушай верную речь!
Нужно снова и снова
нам плечом приналечь!
Мы с тобою в ответе
за большие дела:
чтобы — правда на свете,
чтобы наша взяла.
Мы с тобою — в дозоре,
на виду, на юру,
на великом морозе,
на всесветном ветру —
не затем пробивались
через тучу беды,
чтоб от нас не остались
нашей правды следы.
Четверть века трудились, —
дедом выращен внук, —
четверть века гордились
делом собственных рук.
Так неужто ж теперь ты,
ознобясь до подошв,
перед зрелищем смерти
на колени падешь?
Нет! Не будет такого!
Чтобы страх отогнать,
есть народное слово:
«Двум смертям не бывать!»

А с одною своею
мы сшибемся вразмах,
чтоб, с отвергнутой, с нею
раньше встретился враг.
Со своею одною
станет встреча грозна, —
за твоею спиною
вся земная стена.
Человечество слышит
шаг походки твоей,
человечество дышит
все слышней и гневней.
Не робеть, не сдаваться!
Стать к врагу острием,
на своем оставаться
и стоять на своем.
Дунут ветры победы —
в них дыханье вложи;
будут песни пропеты
без бахвальства и лжи.
Наше вечное пламя
не погаснет века;
наше красное знамя
не надломит древка.
Мы одни, без подмоги,
через кровь, через дым,
на великой дороге
все равно победим.
Человечество с нами
навсегда, на века;
наше славное знамя
не опустит древка!

10 октября 1942 г.

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

Слову
не подвластные усилия,
сила,
презирающая смерть, —
Волжская
военная флотилия,
как тебя
прославить
и воспеть?
Ты,
переносившая лишения
тысячных налетов
и преград,
твердое
принявшая решение:
отстоять
любимый Сталинград!
Круглыми
дымящимися сутками
грозных
несмыкающихся глаз,
между
огневыми промежутками,
может быть, услышишь
мой рассказ.
Натиски свирепые
и дерзкие
на родные
наши берега

сдерживали
лодки капонерские,
отражая
лютого врага.
Мужества сурового
образчики
каждодневно,
нынче — как вчера,
вновь и вновь
показывали тральщики,
повторяли
бронекатера.
Долго длилось
грозное сражение,
но не рвалась
связь могучих жил;
пополнялось
вооружение
и живой запас
горячих сил.
Точно,
с левой стороны
на правую,
так же в сотый,
как и в первый раз,
подается
нашей переправою
продовольствие,
боезапас.
И опять
дорогою обратною
кровную
поддерживает связь,
смелостью,
словами неоплатною,
ранами почетными
дымясь.
Голова
от тяжести закружится,

только лишь
подумаешь о нем:
про такое
кованое мужество,
что не взять
ни стужей,
ни огнем,
не взорвать
ни бомбами,
ни минами,
не сыскать
ни в чьей иной стране,
только лишь
с размерами былинными
ставшее
вплотную
наравне.
Волжская
военная флотилия,
славу
проложившая в века,
слову
не подвластные усилия
только ты
смогла поднять,
река!
Только ты,
река,
своими волнами,
наложивши
вечности печать,
над былыми битвами
и войнами
сможешь
этой славе отвечать!

20 ноября 1942 г.

НЕ ТУПИСЬ, НАША СТАЛЬ!

Это был поворот,
и размах,
и удар,
и опять —
поворот и удар!
Это был всех сердец наших
собранный жар,
кто бы ни был ты,
мал или стар.
Это было —
что в каждой душе наросло:
гнев и боль,
в молодом и седом,
долгожданное
красное наше число,
прежде званное
божьим судом!
Это схвачена в клещи
рука палача
здесь,
у города Калача,
в Абганерово —
нерв перерезан убийц.
Не тупись,
наш клинок,
не зубись!

Дальше,
дальше гони их,
тесни и клони
горы трупов
и груды знамен,
чтоб не знала родня,
где окончились дни
их,
навеки проклятых имен!
Кто их звал сюда?
Кто их сюда приглашал,
на просторы
задонских степей?
Кто им дома
по-своему жить помешал?
Не тупей,
наша сталь,
не скупей!
Не бессильная злоба
владеет пером, —
справедливость и правда —
сюда!
В окровавленном ими
просторе сыром
намечается
зала суда.
Шестьдесят ихних тысяч
признало вину
пред лицом
непреклонных улик;
шестьдесят ихних тысяч
осталось в плену, —
счет не кончен,
хотя и велик.
Посчитаем, —
и я не собьюсь, не солгу, —
не полна
подсудимых скамья:
у народа
останется в вечном долгу

вся фашистская
злая семья.
Поворот и размах,
поворот и удар!
Начинается
праведный суд.
Еще ждет,
напрягая глаза,
Краснодар,
Севастополь с Одессою
ждут!
Еще Франция ждет,
еще Бельгия ждет,
еще Чехию
душат враги, —
они знают и ждут:
суд идет,
суд идет,
всей землей
отдаются шаги.
Это те,
кто, за шиворот взявши убийц,
повернул их
решительно к судьям.
Не тупись,
наша сталь;
наш клинок,
не зубись,
мы вас —
вдвое
оттачивать будем!

1942

ЗАКЛЯТЬЕ

Я такие слова
хочу добыть,
чтоб врага ими
в землю
по шляпку вбить.
Я такие достану
теперь из глубин,
чтобы били они
больнее дубин.
Я такие теперь добуду,
чтобы
в каждой букве
по пуду!
Стой, фашистская нечисть,
фашистская немь,
на руках твоих — кровь,
на глазах твоих — темь.
Стой, фашистская немочь,
немо́та,
на кулак мой
ремень
намотан.
Стой!
Сильна ты
лишь веером брызжущих пуль,
а в душе ты — гнилье,
а на деле ты — нуль.
Толкануть тебя
в злую в душу, —

весь твой строй
железный
разрушу.
Ты вгрызаешься в горы,
ползешь по степям,
но отчаянье
хлещет тебя по стопам,
страх встает
за твоей спиною
накренившеюся
стеною.
Ты ползешь, изгибаясь,
вперед и вперед,
а назад
тебя жуть обернуться берет.
На ногах твоих,
словно цепи,
бесконечные
стынут
степи.
Ты Кубани теперь
приминаешь сады,
ты кавказским вином
заливаешь кадык,
но тревоги
не смоешь хмелем,
не заквасишь тоски
весельем.
Ты куда,
за какие зашел рубежи?
Заклинился, —
попробуй назад убежи!
Здесь — у Нальчика
и Моздока —
задохнись
до последнего
вздоха!
Здесь в туманы тебя
обоймут облака,
защемленной в ущельях,
замлеет рука,

скал завалы
и гор отроги —
под твои
занемевшие ноги.
Здесь орлы
тебе кинутся очи клевать,
водопады
в лицо тебе станут плевать,
перед каждым встречным
аулом
эхо встретит
смертельным гулом.
И когда мы
железо твое перегнем,
и когда твой нахрап
переметим огнем,
не оставивши
лба без метки, —
что ты сделаешь
напоследки?
Ты рассеешься рванью
разбитых орав,
ты бежать будешь,
строй и штаны потеряв.
И на Одере,
Эльбе,
Рейне
станешь
горечи жрать коренья.
Все на карту поставив,
ты рвешься вперед,
а назад
тебя страх обернуться берет.
Нет тебе
обратного ходу:
только —
в пропасть,
в могилу,
в воду!
Стой, фашистская немочь,
фашистская немь,

на руках твоих — кровь,
на душе твоей — темь!
Скоро сутки
пойдут на прибыль:
ты почуешь
свою гибель.

1942

ПОЕЗДА

Над пространствами оледенелыми,
где студеная блещет звезда,
пролетают калеными стрелами
огнедышащие поезда;

С продовольствием, танками, пушками,
с эшелонами силы живой
погромыхивают теплушками
на подмогу страде боевой.

Паровозы заросшие в инее, —
воду взял на ходу и — прочь!
А над ними раскинулась синяя
новогодняя грозная ночь.

Ни секунды промешки и праздности,
каждый миг у них на счету;
к постоянной привыкший опасности
глаз прощупывает темноту.

Ни жилья далеко в обе стороны,
ожидай непредвиденных встреч;
рыщут в небе железные вороны,
чтобы путь им навек пересечь.

Над просторами онемелыми,
дымный хвост по полям разметав,
пробегают, ведомые смелыми,
за составом гремящий состав.

Если хищник вблизи обнаружится,
если с неба сорвется гроза, —
не изменит суровое мужество,
не сдадут на ходу тормоза.

Горизонт полыхает пожарами.
Не замедли, не сдай, доведи!
Машинистами и кочегарами
много видывано на пути.

Много бед пронеслось над бывалыми,
отклубилось, как пар на траве;
над горящими поддувалами
много дум проплыло в голове.

В небе — звезд золотистые оспины.
Постоянно держись начеку!
Много снов ими в жизни недоспано,
недовидено на веку.

Наклонись же над лицами дымными,
отведи беду от них прочь,
сохрани ты их невредимыми,
новогодняя синяя ночь!

1942

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Сквозь сумрак зимней ночи мчась,
к нам долетают вести:
«В последний час! В последний час!» —
клич доблести и чести.
На свете нет дороже слов
для нас теперь, чем эти:
светлеют взоры стариков,
и радуются дети.
Во мгле заснеженных дворов
дыханье ширит груди, —
у сотен тысяч рупоров
стоят, притихнув, люди.
Сквозь сумрак мчась, сквозь ветер мчась,
через метель и стужу:
«В последний час! В последний час!» —
слова слетают в душу.
В них — рев орудий, блеск гранат,
упорный шаг пехоты.
Они в себе еще хранят
жар боевой работы.
И на устах они у всех,
и каждый, вторя, шепчет,
что нашей Армии успех
один другого крепче.
И здесь и там, и здесь и там
враг, погибая, стонет.
За ним, в атаку, по пятам
идет, и гнет, и гонит!

Героев здесь не перечесть,
имен их — миллионы!
За вестью радостная весть
колышет их колонны.
От них, сквозь сумрак ночи мчась,
летят к нам эти вести:
«В последний час! В последний час!» —
клич ярости и мести.
Страна знамена подняла
немеркнущего цвета, —
на их отважные дела
дивится вся планета.
Дохни ж, сквозь сумрак ночи мчась,
дыханием победным,
чтоб стал врагу последний час
действительно последним!

31 января 1943 г.

НА ЗАПАД!

Не холод
и не потепленье
тому
оказались виной, —
когда
началось наступленье —
мы все
уже свыклись с войной.
Мы
горечь ее узнали
и гарь ее
в дом внесли;
тревоги ее
и печали
к сердцам нашим
приросли.
Мы
вникли в ее уловки:
вклиняться
и окружать,
и сердце
наизготовке,
как автомат,
держать.
Мы
поняли вражьи цели, —
за ходом войны —
следить!

В колючей
ее шинели
и женщины
стали ходить.
Мы
детской лишились резвости,
у девочек —
мудрость старух;
о наших
пропавших без вести
мы
не говорили вслух.
Мы
месяцы ждали и ждали,
покуда
из-за лесов,
из мутно глядящей
дали
не дрогнет
стрелка весов.
В мучительном
напряженье
мы
бредили в чутких снах:
когда
начнется сраженье —
войны
переломный знак?
И вот она
подступила
к иссохшим губам —
волна, —
и сдвинулась
вражья сила,
и стала
не та война!
И там,
у излучья Волги,
у локтя
великой реки, —

разбились они
на осколки
и хрустнули
в черепки.
Какая была
отрада!
Не верилось:
вдруг — уйдут?!
Стремительный блеск
Сталинграда,
бессмертных твердынь
редут!
И выяснил
результаты
неслыханный в мире
бой,
и как бы теперь
их солдаты
рванулись назад!
Домой!
Но поздно.
Отрезан путь им!
Не вырваться
из клещей!
Мы
шуток худых не шутим,
с тобою,
лихой кащей.
Мы здесь
не играем в прятки,
преследуя
и гоня!
Мы здесь
в рукопашной схватке,
в сплошном
наплыве огня!
Мы
в утренних спозаранках,
и ночью,
и белым днем

на кованных нами
                  танках
преследуем вас
                  и бьем.
Не схлынула
                  вражья злоба,
еще нам идти
                  нелегко,
но смотрим мы
                  зорко в оба
в грядущее
                  далеко!
И нет от врага
                  отрыва,
и многим —
                  удачный бой
шумит,
                  как волна прилива:
На запад!
                  Вперед!
                        Домой!

1943

НАШИ ИДУТ ВПЕРЕД

Подымайтесь,
слова, в атаку,
распрямляйтесь
во весь свой рост!
По сердечному
жаркому знаку,
радость,
с яростью
хлынь до звезд!

Радость — ярости
встань в подмогу
до решающего конца:
нашим бодрость,
а им тревогу
вбей в клейменые
их сердца!

Что,
не знавший пощады хищник,
обломавший концы когтей,
что осталось
от перьев пышных,
от хвастливых твоих затей?!

Ни у Белгорода,
ни у Курска
не дают ни присесть,
ни встать,

ни потачки тебе,
ни спуску:
клюв раскрыл —
тяжело дышать!

Как ни порскай
и как ни каркай, —
чуешь времени перелом:
отлетаешь
стремглав за Харьков,
черный ворон
с подбитым крылом.

Гнать, и мять,
и давить, и класть их
вал за валом
до ста пластов,
чтоб за горами
рваных свастик
им невзвидеть
вовек Ростов.

Чтоб забыли
они отныне
путь,
заказанный навсегда,
в наши дали,
в места родные,
в наши кровные города.

Слушай, Киев,
гляди, Полтава,
чуй, ушедший в леса народ:
это — наша
с врагом расправа,
это — наши
идут вперед.

Уж на каждой улице
праздник,
каждый день
прибавляет свет,

от чудовищных
лапищ грязных
отмываем
за следом след.

Подымайтесь,
слова, в атаку,
распрямляйтесь
до самых звезд!
По сердечному
жаркому знаку
встань,
победа,
во весь свой рост!

18 февраля 1943 г.

«ТВЕРДО» — СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Миноносец несется,
в белой пене уздцы.
По местам, краснофлотцы,
моряки-удальцы!

К нам идут караваны,
пробираясь с трудом.
Караваны — охрана
провожает в свой дом.

Наш залив на просторе
в долгий день осиян, —
по названию — море,
по делам — океан!

Шаг волны океаньей
застит небо кругом.
Жарко наше желанье
повстречаться с врагом!

Смотрят смело и гордо,
краску с лиц не согнал
обозначенный «твердо»
кораблями сигнал.

На небесном просторе
черной свастики тень.
Встань, Баренцево море,
пену гневную вспень!

Дальнобойному джазу
дан приказ начинать.
Вот пикируют сразу
слева шесть, справа пять.

Пулеметчик-зенитчик,
осади его вниз,
чтоб налетчик-обидчик
корабля не прогрыз.

С курса точного сбиты,
не принявшие бой,
торопясь, «мессершмитты»
растеряли свой строй.

Не надеясь на юркость,
сбросив груз вдалеке,
удаляется «юнкерс»,
выходя из пике.

Нет от прежнего форса
ни следа у врага:
это североморцы
стерегут берега.

Фриц пошел на попятный,
уходя от беды,
только воздух запятнан —
в черных взрывах следы.

Миноносец несется,
в белой пене уздцы.
По местам, краснофлотцы,
смельчаки-удальцы!

Смотрят смело и гордо,
краску с лиц не согнал
отменяемый «твердо»
по отбою сигнал.

10 марта 1943 г.

КОГДА КОМАНДИР ФИСАНОВИЧ...

Уменье, отвага, упорство
среди непредвиденных бед —
вот качества североморца,
несущего ярость торпед.

Недаром в информовских сводках
под рубрикой «Северный флот»
о наших геройских подлодках,
как молния, строчка блеснет.

Враг скрылся по бухтам и фьордам,
по шхерам — по тайным местам.
Но нашим характером твердым
его мы достанем и там.

Решенье задачи — не шутка,
чуть дрогнешь, и можно пропасть.
Идет наша лодка-«малютка»
врагу в озверелую пасть.

Обходит и мины и сети
по зелени малых глубин.
Ничто не задержит на свете
советских лихих субмарин.

Вот вражеской бухты ворота.
Светлеет надводная влажь.
Теперь нам достанет работы
на весь боевой экипаж.

Когда командир Фисанович
поднял перископ из воды —
ничем его не остановишь,
врагу не уйти от беды!

Из сотни возможных решений
мгновенно он принял одно:
свалился, подобно мишени,
транспорт фашистский на дно.

Вслепую от ярости тычась,
немецкий огонь свирепел;
он море сумел только высечь,
а лодку накрыть не сумел.

И радостно слышалось нашим,
как, взрывши наддонную слизь,
все дальше чиненные фаршем
глубинные бомбы рвались.

Все дальше из бухты на выход,
по мощному следу ярясь,
от злости с глазами навыкат
фашистская стая гналась.

А наша лихая «малютка»
с победой вернулась домой...
Решенье задачи — не шутка,
но радостно выиграть бой!

...Два залпа — два грома веселья,
два знака победной цены;
они означают: две цели
фашистские поражены!

И часто в информовских сводках
под рубрикой «Северный флот»
о наших геройских подлодках,
как молния, строчка блеснет.

10 марта 1943 г.

ЭТО — МЕДЛЕННЫЙ РАССКАЗ...

Это — медленный рассказ,
как полет
туч.
Это Северный Кавказ —
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор, —
через Нальчик и Моздок
смотрит смерть
с гор.

Все затянется корой,
схлынет в шум
рек.
Грозный год сорок второй
не забыть
век!

Враг ударил на Черкесск,
Пятигорск
пал.
Враг пошел наперерез
вековых
скал.

По долине Теберды,
через горб —
мост
перекинул он ряды,
растянул
хвост.

Он преграды прорывал,
бил гранат
град,
на Клухорский перевал
подымал
взгляд.

Вот куда он залетел,
до каких
мест!
В сердце гор он захотел
вбить кривой
крест.

Подымалось на дыбы
все —
врагу встречь:
корнем вверх пошли дубы
на завал
лечь.

На альпийские луга
с ледников
сверк,
чтоб скользящая нога
не прошла
вверх.

Злобно щерил враг клыки,
щурил злой
глаз.
Волчьи горные полки
тщились сбить
нас.

Но у наших медвежат
не был дух
слаб, —
враг был стиснут и зажат
между их
лап.

Захрустел его костяк,
унялась
спесь,
и недолго он в гостях
побывал
здесь.

Обвалился грязи груз,
вновь чиста
даль.
Не склонился Эльбрус
под его
сталь.

Это — медленный рассказ,
тяжкий ход
туч.
Это Северный Кавказ —
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор, —
через Нальчик и Моздок
шел громов
спор!

1943

ЭХО СЛАВЫ

Стальные глубокие груди
до самого сердца
вздохнули:
сто двадцать орудий
слились в нарастающем гуле.

Раскаты! Раскаты! Раскаты!
Приветом державным
откликнулась зычно,
Москва, ты
сынам своим славным.

Откликнулась
пламенным голосом, —
как надо дерзать и бороться —
своим беззаветным орловцам,
своим храбрецам-белгородцам.

И — эхом немеркнущей славы
в пальбе орудийной —
гул
Бородина и Полтавы
слился воедино.

И вспыхнули
зарева вспышки,
промчавшись веками,
венчая кремлевские вышки
бессмертья венками.

6 августа 1943 г.

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ ВОЕННЫХ МУЗ

Многие пишут: «Родина-мать,
все я готов тебе отдать!»

И вопрошает Родина-мать:
«Что же ты именно можешь отдать?»

«Все я отдам тебе: музыку рифм
(кстати, мне даже сподручней без них);

Не пожалею ни ритм, ни размер
(мне даже легче без них, не в пример);

Стану я плакать, рыдать, хохотать —
все тебе в помощь, Родина-мать!

Буду читателя строчками потчевать:
длинная очередь, короткая очередь;

В голос поэзии врежу я жесть —
это и будет врагу моя месть;

В многообразии языка
втисну пыхтенье грузовика.

Все я отдам тебе, Родина-мать,
только стихи поспевай принимать;

Только в поэтах меня содержи,
только печатай мои тиражи!»

Грустно задумалась Родина-мать:
«Попусту доводов дальше не трать!

Грош отдаешь, а целковый берешь, —
этак останусь в убытке я сплошь!»

1943

СТИХИ О ЗАРЕВЕ ТРУДА

Топор, пила и лопата

Уважаемые ребята!
Я вам искренне говорю,
что топор,
пила
и лопата
любят утреннюю зарю.

Освещает она на совесть
их сияющие дела,
и блестят они, запунцовясь, —
лопата,
топор
и пила.

Приглядевшись ко всем умельцам,
чей размах так широк и спор, —
ты их сам ухватить осмелься —
лопату,
пилу
и топор.

Чтоб, освоив эти орудья, —
приложения свежих сил, —
налегал на лопату грудью,
за плечо топор заносил;

Чтобы плавно пила ходила,
чтобы в деле ты был упрям,

чтобы жизни живая сила
поднимала тебя по утрам;

Чтобы строить мир,
а не портить, —
я к чему разговор веду! —
чтобы сызмалу приохотить,
приспособить себя
к труду.

Вот поэтому-то, ребята,
я вам искренне говорю,
что топор,
пила
и лопата
славят утреннюю зарю.

Утренняя заря на станке

А что же, если и тонка́,
сложна работа у станка?!
И в ней мы испытали
все формы и детали?!

Кто скажет нам, что мы малы,
чтоб отошли к сторонке?!
Не нами ль движутся валы,
кружатся шестеренки?!

Нет, мы не дети малые,
не хнычем и не плачем, —
мы, сердцем возмужалые,
в труде кой-что да значим!

Не мечемся, не маемся
у рашпиля, у горна, —
работой занимаемся
умело и упорно.

Нам жизнь знакома без прикрас;
забот на нас не тратьте, —
мы здесь — всерьез заменим вас,
отцы наши и братья.

В боях сердца ваши горят
врага разнять по клочьям;
мы в помощь вам — еще снаряд,
еще снаряд обточим.

Снаряд в снаряд, крыло в крыло,
взвивайся, наша сила,
чтобы врага в дугу свело
и дух перехватило;

Чтоб знал, как наша связь сильна,
чтобь дрожь прошла по коже,
чтоб знал, какая есть цена
советской молодежи!

На нас — сияние зари,
к труду привыкшей рано;
мы — младшие богатыри
народа-
великана!

1943

НА ВЫСТАВКЕ «КОМСОМОЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Это были все
бойцы решительные,
делу верные,
ребята свойские.
Пулями
к телам их
попришитые,
кровью смочены
билеты комсомольские.
Если приглядеться
взглядом пристальным, —
кровь
где сплошь позапеклась,
где пятнами...
Ни один не скошен
четким выстрелом:
все —
очередями автоматными.
По десятку пуль им
в сердце всажено,
по билетам —
след от дыр протянут:
бил вслепую,
глаз зажмурив,
вражина,
видно, бил,
боясь:
«А ну как встанут!»

Встаньте все вы здесь —
без всякой мистики,
строем
непоколебимых воинств,
подымитесь в рост
на вечной выставке
высших
человеческих достоинств.
Вы задаром
выстрелов не тратили,
берегли
для точного ответа.
В бой идя,
не рвали и не прятали
в землю
комсомольского билета.
Юность вы свою
ценили дорого;
первый пух
едва вам щеки тронул.
Гитлер не жалел
свинца и пороха,
не жалел на вас
своих патронов.
Он хотел
итогами загробными
обвести нам
города и села.
Он мечтал
сдавить и смять
под ребрами
боевое
сердце комсомола.
Но оно —
такой горячей выплавки
брызнуло
бессмертия лучами,
что ему
глаза придется выплакать
черными
свинцовыми ручьями!

Вас же —
вечно нынешних,
теперешних —
сохранит
не батальон,
не рота, —
станет колыхать
волною бережной
в океанской памяти
народа!

1943

СНОВА В ДОНБАССЕ

Наши в Донбассе!
Снова в Донбассе!
Фашистов стирая
с лица земли, —
нечисть дубася,
насмерть дубася,
мордой тупою
купают в пыли.

Нет ни стиха такого,
ни прозы,
чтоб рассказать,
что на сердце таим:
вслед им неситесь,
взревев, паровозы;
вслед, длинногорлые,
залпами им!

Что, пивовары,
что, мародеры,
дорог донбассовский
уголек?!
Долго ли пробыли,
много ли добыли?
Сразу не взять его —
прочно залег?

Что, душегубы,
что, душегары,
дешево ль стали вам
наши товары?
Все ли дограбили,
все ль дорубили, —
угольной пылью
зобы понабили?

Ежитесь, тужитесь,
гнетесь, коробитесь
к заду поджатым,
линялым хвостом?
Пласт не поднимете?
Сами уляжетесь
в землю прибитым
тяжелым пластом!

Фашистов дубася,
фашистов дубася,
мордой тупою
купая в пыли, —
наши в Донбассе,
наши в Донбассе
нечисть счищают
с советской земли!

10 сентября 1943 г.

СМОЛЕНСК ВЗЯТ!

Когда, торжествуя
над ворогом лютым,
страна храбрецов своих
славит салютом, —
то нет на земле
ничего вдохновеннее,
чем эти величественные
мгновения.

Сегодня особенно яркого блеска
были вспышки и долог гул:
это — разжались глаза Смоленска,
это — Рославль свободно вздохнул.

Смоленск взят!
Из жил яд,
исторгнута злая отрава.
Советские флаги победно парят,
смоленским дивизиям —
слава!

Этой дорогой
разбитых французов
некогда гнал
разъяренный Кутузов.
И той же великой
старинной дорогой

назад изгоняются
снова враги.
И тою же славой
дедовской, строгой,
внучат зазвучали
стальные шаги.

Земля всколыхнется
победными маршами,
и поймут отдаленнейшие умы,
насколько всего человечества
старше мы, —
спасшие мир
от фашистской чумы!

26 сентября 1943 г.

ПЕСНЬ О КОМСОМОЛЕ

Комсомолец — это слово
вечно юно, вечно ново.
Комсомолка — это имя
дышит чувствами живыми.
Не пустыми похвалами
начинайся, песнь моя, —
встань, великая делами,
комсомольская семья.
Встань, раздайся и постройся,
подравняй свои ряды,
огляди свое геройство,
даль зрачками обведи.

Сколько синих, карих, черных
чистых звезд блеснуло враз:
неподкупных и упорных,
прямодушных, смелых глаз!
Это — ленинское племя,
внявшее его словам.
Это — пламенное время
заглянуло в душу к вам.
И душа в ответ навстречу
взволновалась глубью всей:
«Чем отвечу? Чем отмечу
юность родины своей?»

Горы, степи, реки, долы,
Терек, Волга и Байкал...

Всюду голос комсомола
вешним шумом возникал.
И рыбацкие поселки
и заоблачный аул
смелой речи комсомолки
разносили долгий гул.
От картвелов до эвенков,
от Мезени к Иртышу —
сколько лиц, речей оттенков!
Как я все их опишу?!

Но разрозненный обычай
дальних навыков и мест,
разных видов и обличий
в общий складывался жест.
В обиход слова входили:
«комсомол», «аврал», «райком»,
и ребята говорили
всюду близким языком.
И сливалась воедино
волей общею одной
моря северного льдина
с черноморскою волной.

Не про мертвого, — живого
поднимаю голос свой:
про Олега Кошевого,
про товарищей его.
С ними нам не разлучиться:
горяча о них молва,
в сердце пепел их стучится,
их в мозгу горят слова.
Про героев Краснодона,
комсомольцев-смельчаков,
жизнь пронесших без урона
в даль грядущую веков.

Нет! Таких сердца не тлеют!
В переплетах вечных книг
поколения лелеют
память прочную о них.

Не покой, не грусть, не нега
детской сгибчивой поры, —
в гордом имени Олега
страсть, творящая миры.
Словно кличем лебединым
даль хрустальная полна:
в этом имени едином
слиты ваши имена.

Нет на свете мук без стона:
волны бьются в берега;
о героях Краснодона
боль безмерно велика.
Но снисходит вдохновенье
на великие сердца,
притупляя все мученья,
все страданья без конца.
И тогда не чует тело
никаких безмерных мук:
до великого предела
напрягает волю дух.

Так они того достигли
состояния души,
что ни плеть, ни нож, ни иглы
не смогли их устрашить.
Не склонить таких в печали,
и когда идти на смерть —
буквы в стенку простучали:
«Не сгибать голов, а — петь!»
Петь о тех, кто пал в неволе,
чья — не слабости слеза —
слава силы комсомольей
хлынула врагу в глаза.

Про бойца сторожевого,
без прибавки, без прикрас,
не убитого, — живого,
простирается рассказ.
Он стоит, отважный мальчик, —
сибиряк, грузин, казах;

время мчится дальше, дальше,
он взрослеет на глазах;
он растет все выше, выше,
талия его тонка;
он знаменами колышет,
он нагнулся у станка.

Он сбирает урожаи,
партизанит у села;
поднимается, мужая,
на великие дела;
он залег у переправы,
он снарядов слышит вой
на пороге той же славы,
что товарищ Кошевой.
Кишлаки, аулы, села
слышат славные дела:
это — сила комсомола
их на подвиг подняла.

Не покой, не грусть, не нега
им в удел присуждена, —
в гордом имени Олега
слиты все их имена.
О таких когда жалеют —
жаркой сталью слезы льют;
времена от них светлеют
и века гремят салют.
Это — ленинское племя,
внявшее его словам.
Это — пламенное время
заглянуло в душу к вам!

29 октября 1943 г.

СЕВАСТОПОЛЬ

Бьет о берег морская пена,
словно пушечных залпов звук.
«Севастополь вырван из плена,
из проклятых фашистских рук!»

Вот она, золотая минута,
что столетья берут на учет:
отрубили щупальцы спрута
на краю черноморских вод.

Обломилась вражья гордыня,
отвалилась с души скала.
Снова нашей славы твердыня
поднимает вверх вымпела.

Снова ветер, волен и солон,
размывает небо над ним.
Снова город говором полон
долгожданным, свойским, родным.

Снова рокот лебедок дружный
черноморская встретит заря,
и над Северной и над Южной
зачеканят сталь слесаря.

Снова звуком басов органным
корабельным взгудеть гудкам,
отдающимся по курганам,
проносящимся по векам.

Так, покончив с врагом расправу,
Севастополю в блеске дня,
так стоять ему, — древнюю славу
с нашей, с нынешней, соединя!

13 мая 1944 г.

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Пол-Европы прошагали
мы по тысяче дорог,
и никто нашей отваге
на пути стоять не смог;
загорели наши лица,
загрубели голоса,
но по-прежнему, как птицы,
бьют крылатые сердца!

Наше дело правое,
венчанное славою,
поднял на плечах могучих
весь советский край;
наша воля гордая,
наше слово твердое:
скажем — что завяжем,
хоть зубами разгрызай!

Пол-Европы выручали
мы от тысячи невзгод,
всюду жители встречали
ликованьем наш приход;
в Будапеште, в Бухаресте,
в Вене, в Праге, в Радоме
нас встречали, провожали
ласковыми взглядами.

Удивлялись иностранки:
что за правильный народ, —
артиллерия и танки,
авиация и флот;
он и мухи не обидит,
не сомнет ногой цветка,
но уж если драться выйдет —
тяжела его рука!

Наше дело правое,
венчанное славою,
поднял на плечах могучих
весь советский край;
наша воля гордая,
наше слово твердое:
скажем — что завяжем,
хоть зубами разгрызай!

23 июня 1945 г.

РАЗБИТА И ПРИКОНЧЕНА...

Разбита и прикончена
фашистская японщина,
на долгие века
ей скручена рука!

Опасною соседкой
была она для нас,
нельзя от пули меткой
свести, бывало, глаз.

Мы помним эти зори,
крутые берега,
когда вступить в Приморье
смогла нога врага.

Навис он темной тучей,
нахрапом обуян,
да смыт был с сопок кручи
в Великий океан.

Коварство злого плана
мы помним до сих пор:
и грохот у Хасана,
и бой за Халхин-Гол.

Весь век ее смиряя,
должны мы были жить,
рубашки самураю
смирительные шить.

Теперь он связан, скован
за Гитлером вослед,
и Дальний застрахован
от бед на много лет.

Смывай же злое лихо —
воронки тяжких ран, —
Великий или Тихий
советский океан!

4 сентября 1945 г.

ПЕСНЯ СЛАВЫ

Славься, великая,
многоязыкая,
братских советских
народов семья.
Стой, окруженная,
вооруженная
древней твердыней
седого Кремля!

Сила несметная,
правда бессмертная
Ленинской партии
пламенных лет.
Здравствуй, любимое,
неколебимое
знамя, струящее
разума свет!

Славная дедами,
грозная внуками,
дружных советских
народов семья.
Крепни победами,
ширься науками,
вечно нетленная
славы земля!

1945



НА СТРАЖЕ МИРА

Как жизни яростна игра!
Рассветы, полдни, вечера
сменяют завтра — на вчера.

То резкий холод, то жара,
и вот — зеленая, сыра —
грубеет дерева кора.

Глядишь — играет детвора
в колодце узкого двора,
а вот и в школу ей пора.

И юность мчится, как стрела,
ведь вот же — только что была,
а не поймешь, куда ушла.

То тень зеленого шатра,
то жар осеннего костра,
и вот уж — молодость стара!

То детский смех, то быстрый бег,
то полный мужества успех,
то прямо на голову снег.

Давай немедленно решать:
какой нам подвиг совершать,
чтоб вражьей злобе помешать?

Следи за далью громовой,
за шевелящейся травой,
крепи свой подвиг боевой
на страже мира, часовой!

1954

НАША ПРОФЕССИЯ

Если бы люди собрали и взвесили,
словно громадные капли росы,
чистую пользу от нашей профессии,
в чашу одну поместив на весы,
а на другую бы — все меднорожие
статуи графов, князей, королей, —
чудом бы чаша взвилась, как порожняя,
нашу бы — вниз потянуло, к земле!
И оправдалось бы выражение:
«лица высокого положения»;
и оценили бы подлинно вес
нас, повелителей светлых словес!
Что это значит — остаться в истории?
Слава как мел: губку смочишь и стер ее;
но не сотрется из памяти прочь
«Страшная месть» и «Майская ночь»!
Те, кто бичом и мечами прославились,
в реку забвенья купаться отправились;
тот же, кто нашей мечтой овладел,
в памяти мира не охладел.
Кто был в Испании — помните, что ли, —
в веке семнадцатом на престоле?
Жившего в эти же сроки на свете
помнят и любят Сервантеса дети!
А почему же ребятам охота
помнить про рыцаря, про Дон Кихота?
Добр, справедлив он и великодушен —
именно этот товарищ нам нужен!

Что для поэта времени мера?
Были бы строки правдивы и веселы!
Помнят же люди слепого Гомера...
Польза большая от нашей профессии!

1954

СТИХИ МИРА

Ты — в стране молодой советской,
ты — в семье трудовой большой,
с силой-удалью молодецкой,
с неподкупно смелой душой,

Человек из костей и мяса,
ты, чья дышит глубоко грудь, —
хорошо тебе, встав, размяться,
свежей влагой в лицо плеснуть,

Край ковриги посыпать солью,
хрустнуть луковицей золотой,
кинуть взор вокруг на раздолье,
по равнине в синь залитой,

Пробежаться лугом и лесом,
сбить с репья росу на пути,
наслаждаясь собственным весом,
колесом по траве пройти,

Хорошо при работе ловкой
душу вкладывать в ремесло,
стену вывести со сноровкой,
обтесать топором весло!

Миру мир ты несешь повсюду!..
Но, безумием ослеплены,
превратить его в горя груду
замышляют творцы войны.

Так раздуты бюджеты военные
по свистку вашингтонских дельцов —
непомерно необыкновенные,
что от пороха воздух свинцов.

Обезвредь душегубов матерых!
Голосами всей мирной земли —
слесарей, полеводов, шахтеров —
запрети войну! Повели,

Чтобы бомба не взвывала,
чтоб, навеки побеждена,
по музеям лишь оставалась
панорамным видом война!

1954

ВЕСЕННИЙ КВАРТАЛ

Спасибо тебе, весна,
что ты светла и ясна
без всяческих объяснений!
Спасибо тебе, весна,
что ты чиста и честна,
полна надежд и стремлений!

Март:
весна вступает в азарт,
мчаться куда-то хочется;
школьники в окна глядят из-за парт —
не могут сосредоточиться.

Апрель:
в воздухе ласка и хмель,
сколько слов надо добрых и нежных;
в небе
гудит самолет, словно шмель,
в долах
умытый подснежник.

Вот так Маяковский
шел по весне,
по мартам и по апрелям,
навстречу солнцу
с народом тесней
по лужам и по капелям.

Зачем я вспомнил сегодня о нем
средь шумного майского люда?
Затем,
что, горевший предмайским огнем,
он сам был
весеннее чудо!

В марте — весна воды,
в апреле — весна травы,
а май — всем людям на радость:
птицы на все лады,
в цветах поля и сады,
и дела наши
крепнут, наладясь.

Спасибо тебе, весна,
что ты светла и ясна
без всяческих разъяснений!
Спасибо тебе, страна,
что ты сильна и стройна,
полна надежд и стремлений!

1954

МЕТРО «МАЯКОВСКАЯ»

> В наших жилах —
> кровь, а не водица.
> Мы идем
> сквозь револьверный лай,
> чтобы,
> умирая,
> воплотиться
> в пароходы,
> в строчки
> и в другие долгие дела.
>
> *Маяковский, «Товарищу Нетте»*

Вот оно —
одно из долгих дел,
дело
высшей доблести
и чести,
выходящее
далеко за предел
человеческих
обычных происшествий.
Думаю,
что Маяковский сам,
доведись
дожить ему досюда, —
никаким
не доверявший чудесам, —
это бы
признал за чудо!

Говорят,
что нет ему
потомков,
нету
творчеству его
детей...
Нынче,
дескать,
строчку сжав
и скомкав,
пишут
безо всяческих затей.
Ну, а эти,
выведшие своды,
пробивавшиеся
через плывуны,
укротившие
подпочвенные воды, —
разве
не его повадки
дочки и сыны?
Разве не для них
писал он:
«...Город будет!»
Разве не о них
заботился:
«...Кем быть?»
Разве
не воспетые им люди
полчища врага
смогли разбить?
Крепкий телом,
неуклонный волей,
не боящийся
земных невзгод,
бодрый,
многошумный,
комсомолий,
закаленный в доблестях
народ!

Это —
не просто
бряцанье слов,
не похвала им
плоская, —
след их годов,
плод их трудов —
станция
«Маяковская».
Сменяется
ласковый матовый блеск
в просторах
дуга за дугою...
Но те,
кто под землю
впервые влез,
видали ее
другою.
Дорога
для этих
была узковата,
работа подземная
не легка;
их не поднимал — опускал
эскалатор,
как на ладони своей
великан.
Они прорывались,
врезались,
вгрызались
в земную
косную толщь;
их плечи
скелетов столетий касались,
подземный
кропил дождь.
Солнце светило
где-то высоко,
цветы колыхались
под ветром
в лугах,

а они
пробивались сквозь землю
в спецовках,
в глиной измазанных
сапогах.
Когда же встречалась
бригада с бригадой
и рушился грунт —
лишь плечом приналечь, —
какою
безмерно
была богатой
радость
их встреч!
Не так ли
под стенами Сталинграда,
выиграв
в мире неслыханный бой,
армия с армией
встретиться рады,
лица друзей
увидав пред собой?
Они
усилий своих
не ослабили:
опробован
проверочный рейс,
и стены обвили
подземные кабели
ток отдавать
на контактный рельс.
Они,
подземных путей
строители,
с настойчивостью
большевиков,
плоды своих дел
неоглядных
провидели
упроченными
на веки веков.

И станция
глубокого заложения,
воздвигнутая
под Москвой,
стала
примером вечного движения,
пульсирующего
день-деньской.
Они проводили
сквозь толщу темени,
сквозь толщу
земной стены
свою
великую
машину времени,
машину времени
своей страны.
И стала Москва
жить быстрее
впятеро,
за год
пятилетие проходя,
под руководством
Ленинской партии —
мирных советских народов
вождя!

1948—1954

ДРУЗЬЯМ

Хочу я жизнь понять всерьез:
наклон колосьев и берез,
хочу почувствовать их вес
и что их тянет в синь небес,
чтобы строка была верна,
как возрождение зерна.

Хочу я жизнь понять всерьез:
разливы рек, раскаты гроз,
биение живых сердец —
необъясненный мир чудес,
где, словно корпус корабля,
безбрежно движется земля.

Гляжу на перелеты птиц,
на перемены ближних лиц,
когда их время жжет резцом,
когда невзгоды жмут кольцом...
Но в мире нет таких невзгод,
чтоб солнца задержать восход.

Не только зимних мыслей лед
меня остудит и затрет,
и, нет, не только чувства зной
повелевает в жизни мной, —
я вижу каждодневный ход
людских усилий и забот.

Кружат бесшумные станки,
звенят контрольные звонки,
и, ставши очередью в строй,
шахтеры движутся в забой,
под низким небом черных шахт
они не замедляют шаг.

Пойми их мысль, вступи в их быт,
стань их бессмертья следопыт!
Чтоб не как облако прошли
над ликом мчащейся земли, —
чтоб были вбиты их дела
медалью в дерево ствола.

Безмерен человечий рост,
а труд наш — меж столетий мост...
Вступить в пролеты! Где слова,
чтоб не кружилась голова?
Склонись к орнаменту ковров,
склонись к доению коров,
чтоб каждая твоя строка
дала хоть каплю молока!

Как из станка выходит ткань,
как на алмаз ложится грань,
вложи, вложи в созвучья строк
бессмертный времени росток!
Тогда ничто, и даже смерть,
не помешает нам посметь!

1954

МОЛОДЕЖИ

Наша юность
тем хороша,
что
как вешняя зорька зардела,
что
от ленинского шалаша
ей открылись
пути без предела;
наша юность
тем хороша,
что
с костров пионерских
сумела,
резким ветром
глубоко дыша,
воспитать
свою волю и тело;
наша юность
тем хороша,
что
мечтой в занебесье взлетела
и ничья
молодая душа
от заботы
не очерствела;
наша юность
тем хороша,

что
  глядит неподкупно и смело,
не ища
    для себя барыша,
за великое
      борется дело;
наша юность
        тем хороша,
что
  страна ее в славу одела,
плавя руды,
       покос вороша,
сотней знаний
        она овладела;
все препятствия
          сокруша,
пред грозой
       и бедой не робела,
наша юность
        тем хороша,
что
  густою стеной камыша
песню радости
        прошумела!

1954

МАРШ МОЛОДОСТИ

Вдаль,
вдаль
отмеривай шажищи,
нам печаль
не свойственна,
дружище!
Ты влюблен?
Шепни своей подруге:
«Труд суров,
но — веселы досуги!»
Вдаль,
вдаль
отмеривай шажищи,
нам печаль
не надобна,
дружище!
Ты влюблен?
Гляди в глаза подруге
в Курске,
в Брянске,
в Туле
и в Калуге.
Вдаль,
вдаль
отмеривай шажищи,
нам печаль
не по нутру,
дружище!

Не успели
        вы еще влюбиться?
Не беда,
        не стоит торопиться!
Лыжный бег,
        скольженье на байдарках
лучше всех
        приветов и подарков.

1954

МАРК ТВЕН

Я очень люблю
Марка Твена.
Он
одним движеньем руки
переносит меня
мгновенно
на берег
величественной реки.
И видится мне
в серебряной зыби
жизнь
на Миссисипи...

За ширью вод
едва-едва
виднеется плот...
Там рубят дрова.
Когда топор
поднимается вверх,
то
искоркой солнца
на лезвии сверк,
а звук
не слыхать:
лишь со взмахом
новым
его
с того берега
донесло вам.

Вот так показать
ширину наших рек,
чтоб стали они
всем сродны навек;
вот так измерять
глубину наших чувств
в разливе народного моря
учусь,
чтоб,
отсверком солнца рассыпясь
от Волги до Миссисипи,
блистанием мыслей,
веселых и добрых,
весь мир пересверкивался
как гелиограф!..

Но Твена теперь —
в военной истерике —
не признают
в современной Америке;
его прибило
от мрака и темени
к нашему берегу, —
к нашему времени!

1949

УКРАИНЕ

> Ты знаешь край, где все обильем дышит...
>
> *А. К. Толстой*

Века борьбы то с дикой ордой,
то с наглым нахрапом панства
грозили тебе — беда за бедой —
пропасть, в курган закопаться.

Казалось — все города твои выгорят:
и Киев, овеянный славой,
и Белая Церковь, и Нежин, и Миргород,
и древний Чернигов с Полтавой.

Казалось — в тяжких томясь цепях,
в глухой турецкой неволе,
зачахнет казацкая песня в степях
и высохнет колос в поле.

Зачахнет песня пустынной зари,
истлеет истории свиток,
и головы сложат свои кобзари,
слепые от лютых пыток.

Лишь вспомнят люди, как натиск врага
ты отражала грудью,
как дико кричала в полях пустельга,
какое было безлюдье.

Как редкий пахарь, ведя волов,
следя за угрюмой тучей,
с плеча не снимал ружейных стволов
и сабли — на всякий случай.

Века борьбы за право дышать,
за волю твою и правду, —
и враг не смог тебе помешать
собрать в Переяславе Раду.

Но те времена отошли навсегда,
и вновь бандуристы сивы
поют твои вольные города,
твои величавые нивы.

Враги тебя сжечь хотели дотла,
чтоб всюду чернела руина,
но ты из пепла восстала, светла,
и вновь зацвела, Украина.

И в том тебе русский народ помог
оружьем, хлебом, солью,
помог врагов изгнать за порог,
цвести твоему раздолью...

И вот теперь, через триста лет,
народной памяти близкий,
привет тебе, к правде нашедший след,
сын славы, Богдан Хмельницкий!

Привет и поклон тебе, братский народ,
кто силе ничьей не покорен,
который далече почуял вперед
великого времени зори!

Сродненные общностью мыслей и дел,
одной окрыленные целью,
мы общим стремленьям не знаем предел —
довольству, обилью, веселью...

Дожди животворные землю кропят,
подсолнухом солнце зреет,
а выси Урала и синих Карпат
великая дружба греет.

Греми же, великой дружбы салют,
как луч, пронизавший призму,
и братские чувства знамена совьют
на прочном пути к коммунизму!

1954

КОНЦОВКА

Как заглавные буквы
в фолианте древнего города,
временам в назидание
поднимаются гордо
высотные здания.
Это —
        не заокеанские небоскребы,
которыми
            небо закрыто,
вместилища
                долларовой утробы
мирового Вор-стрита.
Это —
        новая «Повесть временных лет»,
повесть
            доблести и правоты,
наш наглядный ответ
морю злобы,
                интриг,
                        клеветы.
Это —
        повесть спокойной героики
человечьего
                нового знания, —
коммунизма грядущего
                            стройки
скоростные
                высотные здания.

А вокруг них —
не только зрители,
любопытствующие от скуки,
а вершители их,
строители,
приложившие к делу руки.
Ими взвито
парящее здание
нового университета, —
вот он —
подлинный Храм Знания,
Дворец Света.
Здесь
не будут наукой кичиться
маменькины сынки, —
здесь
станут учиться
те,
кто в деле умны и ловки,
чьи отцы
могут строить дворцы, —
наших дел настоящих
творцы:
столяры,
сталевары
и плотники,
землекопы
и электромонтеры,
до любого труда
смельчаки и охотники,
с места сдвинуть
смогшие горы!..
Смотрят здания
тысячью глаз,
многоярусными этажами,
словно будущее
на нас
смотрит
пристальными глазами.

1953

НАШ ОКТЯБРЬ

Наш Октябрь —
изумительный праздник,
всенародной души
торжество:
в сотнях обликов
разнообразных
проявляется
сила его!..
Вот он дышит
глубоко и жарко
на селения
и города —
и шахтер,
и пастух,
и доярка
вырастают
в Героев Труда.
Он ученому
светит за полночь,
он у школьника
правит тетрадь,
он повсюду приходит
на помощь, —
как же
всю его мощь
описать?
Как припомнить,
что было сначала?

Взявши руку
большевиков,
вся страна его
в песнях встречала
и в мерцанье
солдатских штыков.
Это были
могучие годы,
человечности
взвившийся вал,
всей земли
запевали народы
эхом грянувший
«Интернационал».
От позднее
назревших событий,
от геройством
насыщенных дней
не становится он
позабытей,
а все ярче,
звончее,
ясней!..
И в сердцах:
«...Это есть наш последний...» —
от волнения
дух захватив,
по-иному,
сильней и победней,
разрастается
тот же мотив.
В небе
тучи осенние реют,
иней
травы пушит, серебря...
Но вовеки
не постареет
величавый
рассвет
Октября!

1951—1954

ЖАРКО ГОРОДУ

Жарко городу этим летом,
душно городу этим годом.
Так набродишься перегретым,
что ведешь себя теплоходом!

Тротуары будто из воска...
Остановишься у киоска.
«Без сиропа или с сиропом?»
«Без сиропа», — налить торопим.

Но в секунду — хоть пей стократно —
все выпаривается обратно,
губы сохнут, и сердце вянет,
начинает мутиться разум.
Хорошо теперь в океане
быть дельфином иль водолазом!

От великой от этой суши
усыхают тела и души.
Даже ждешь холодного взгляда —
хоть какая-нибудь да прохлада!

Словно в лавовую влит оправу,
словно в выплавке Бессемера,
плавит солнце людскую лаву,
зной слоист и тяжел без меры.

Мне б хотелось стихов прохладой
остудить этот зной заклятый:
для людей ведь, как и для растений,
нужен свет, но нужны ж и тени!

1952

ГЛЯДЯ В НЕБЕСА

Как лед облака, как лед облака,
как битый лед облака,
и синь далека, и синь высока,
за ними — синь глубока;

Летят облака, как битый лед,
весенний колотый лед,
и синь сквозит, высока, далека,
сквозь медленный их полет;

Летят облака, летят облака,
как в мелких осколках лед,
и синь холодна, и синь далека
сквозит и холодом льнет;

И вот облака превращаются в лен,
и лед истончается в лен,
и лед и лен уже отдален,
и снова синь небосклон!

1949

ЗЕЛЕНЬ, ВОДА, СОЛНЦЕ

Деревья растут убежденно
и утро, и вечер, и ночь,
деревья растут каждоденно —
стоишь ли, уходишь ли прочь;

Их свежие сильные токи
стволов утвержденных ряды
доносят до крон до высоких —
насосами — струи воды;

Чтоб волны ее протекали
не только по ложу ручья,
а кверху, по вертикалям,
воздушную сухость мягча;

И, листья с ветвей не роняя,
ловя дуновенье прохлад,
растут, у корней охраняя
потока серебряный клад.

Меж зеленью и водою
великий союз заключен.
Давай же мы будем с тобою:
я — зеленью, ты — ключом!

1953

ГРОЗЫ И ЛИВНИ

Над лесами ходят грозы,
сосны гнутся,
проливные с неба слезы
ливнем льются.

Слон небес трубит свирепо —
блещут бивни,
целый месяц тмится небо,
хлещут ливни.

Что с тобой мы делать будем
в вихре молний?
Сядем, жизнь свою обсудим
поспокойней.

Что нам грозы, что нам ливни,
дождь степною?
Пусть гремит все непрерывней:
ты ж — со мною!

1953

ВЗМОРЬЕ

1

Утренняя песня дрозда,
вылетевшего из гнезда;
в небе — сверкающая,
переливающаяся
утренняя звезда...

О, если бы всюду, везде
думать об этой звезде,
помнить
об этом дрозде!

2

Над морем
наклонилась туча,
синя, сурова и сверкуча;
но я ее дыханьем сдую,
сырую, серую, седую.

На сердце
навалилась злоба,
тупа, угрюма, низколоба;
но я ее глухую ношу
биеньем сердца
с сердца сброшу

3

Мы здесь жили
в сообществе ласточек,
муравьев и пчел;
их,
трепещущих, блещущих, пляшущих,
я числа не счел...

И «павлиньего глаза» пыланье,
изумрудных стрекоз слюда
пробуждают в нас вновь желанье
возвратиться сюда.

1954

ЧЕРНОБРИВЦЫ

Ведь есть же такие счастливцы,
что ранней осенней порой
следят, как горят чернобривцы,
склонившись над грядкой сырой!

Их жарким дыханьем согрето
и пахнет, как в пробке вино,
осеннее позднее лето,
дождями на нет сведено.

Давай же копаться и рыться
в подмерзнувших комьях земли,
чтоб в будущий год чернобривцы,
как жар, в холода расцвели!

1954

ДЕНЬ НЕ ОТЦВЕЛ

Как переменчива погода:
то резкий холод, то тепло;
то праздник птичьего народа,
то песня прячется в дупло...

Казалось бы, пора к отлету:
уже сентябрь в седой росе, —
так нет, не отобьешь охоту
к рябин раскинутой красе!

Срывает ветер сучья сосен,
скрипит о лете тонкий ствол.
Тех жалоб звук непереносен! —
О чем? Что жаркий день отцвел?

Но мы поэтому не станем
печалиться прохладным днем,
слезой лица не затуманим,
а вспыхнем пламенем багряным —
рябин пылающим огнем.

1953

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ

Пел торжественно петух,
пар курился на задворье,
звездный жар почти потух,
пел петух весны предзорье.

Шли часы такой поры:
голоса примолкли раций,
столяры за топоры
не подумывали браться.

Всех сморило по весне...
Птицы, звери, ребятишки —
все тонули в сладком сне,
головы уткнув под мышки.

Пел петух зарю не зря
мглистым утром до рассвета,
и пришла к нему заря
ярко-огненного цвета;

Вся закутана в туман,
словно в призрачной косынке, —
от нее весь лес румян,
искорки в любой росинке!..

Пел торжественно петух,
эхом лес перекликался,
ранний мир сиял вокруг —
весь в лучах переливался.

1952

СНЕГИРИ

Тихо-тихо сидят снегири на снегу
меж стеблей прошлогодней крапивы;
я тебе до конца описать не смогу,
как они и бедны и красивы!

Тихо-тихо клюют на крапиве зерно, —
без кормежки прожить не шутки! —
пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно,
да хоть что-нибудь будет в желудке.

Тихо-тихо сидят на снегу снегири —
на головках бобровые шапочки;
у самца на груди отраженье зари,
скромно-серые перья на самочке.

Поскакали вприпрыжку один за другой
по своей подкрапивенской улице;
небо взмыло над ними высокой дугой,
снег последний поземкою курится.

И такая вокруг снегирей тишина,
так они никого не пугаются,
и так явен их поиск скупого зерна,
что понятно: весна надвигается!

1953

А ПОТОМ ЗИМА...

Долой
слова недвижные:
«стоять»,
«сидеть»,
«лежать»!
Идем
на базы лыжные —
лететь,
кружить,
бежать!
Снега у нас
просторные,
пространства —
без конца,
отважные,
упорные,
горячие
сердца.
Через леса
сосновые,
где дух
вина хмельней,
лыжни проложим
новые
по свежей
целине.
Через отроги
горные

с обрыва —
птицей
вниз —
бесстрашные,
проворные,
метелью
пронеслись!
Не нам
бояться-ежиться
бурана
и пурги,
пускай от них
корежатся
угрюмые
враги.
А мы
семьею дружною,
кто к холоду
привык,
сквозь снежную,
сквозь вьюжную
погоду —
напрямик!
А мы
вперед со славою
на приз времен
вдали
за наше дело
правое,
за счастье
всей земли!

1948

ТЁХ-ТЁШКА

1

В зимний вечер из потемок
появляется котенок:
сверху сер, а снизу бел,
очень горд и очень смел.

Называется он Тёшка,
ясноглаз, и шерсть густа,
хоть его мамаша, кошка,
совершенно без хвоста.

2

Принесли его в квартиру.
Был он робок — дрожь и страх!
Путешествовать по миру
начал он, уйдя под шкаф.

Просидевши там день целый,
к ночи вышел оробелый,
весь в пыли, глаза круглы,
стал обнюхивать углы.

Кто б сказал об этой крошке,
чем окажется она?
Кто б тогда увидел в Тёшке
игруна и прыгуна?

3

Непоседа и задира —
чашки, миски кверху дном!
От его затей квартира
прямо ходит ходуном.

Все, что двигается, вьется,
что качается, дрожит,
перепархивает, льется, —
Тёшке голову кружит.

Маятник часы качают —
надо их остановить.
Мухи в комнате летают —
надо их переловить.

4

На столы с размаху прыгал,
не удерживая пыл.
Все, что можно двигать, — двигал,
что сумел свалить, — валил.

На боку лежит кастрюля,
дребезжит, кружась, стакан,
а котенок, словно пуля,
через стулья — на диван.

Он по-всякому проказил,
непоседлив и лукав;
он по шубам ловко лазил
и выглядывал в рукав.

Он таскал зубные щетки,
он очки носил в зубах,
норовил куснуть подметки,
вис на вороте рубах.

5

Лишь с утра он просыпался,
выгнув спину, как верблюд,
он за дело принимался,
за котячий мелкий труд:

Потолкать хозяйку в локти,
сунуть голову в пакет,
поточить о мебель когти,
пошуршать среди газет.

6

Наконец поймал он мышь...
Что с ней делать? Неизвестно.
Он ведь сам еще малыш.
Съесть ее? Неинтересно!

И, наежив уши, стал
думать думу наш красавец,
а мышонок убежал,
от когтей его спасаясь.

7

Как-то ранним вечерком,
лишь зажглись в квартире лампы,
смотрим — по полу ползком
он вытягивает лапы:

То одной вперед шагнет,
то другою — и замрет...
Видя тени от ушей,
он их ловит, как мышей.

Он вперед — и тень вперед
передвинется немножко;
он замрет — и тень замрет...
В чем же дело тут, Тёх-Тёшка?

8

Но не думайте, что он
глуповат и простодушен, —
он достаточно умен
и достаточно послушен.

Он во всем весьма опрятен,
лижет шерсть со всех сторон:
на себе малейших пятен
выносить не может он.

Просто он еще дитя,
просто он еще котенок;
погодите: год спустя
превзойдет котов ученых.

Станет сказки говорить,
песни станет петь на крыше;
сможет столько натворить,
что и в книгу не упишешь.

Будет знать — ты мне поверь —
книги, музыку и пляску...
Он мне в уши и теперь
намурлыкал эту сказку.

1947



ЗЕРНО СЛОВ

От скольких людей я завишу:
от тех, кто посеял зерно,
от тех, кто чинил мою крышу,
кто вставил мне стекла в окно;

Кто сшил и скроил мне одежду,
кто прочно стачал сапоги,
кто в сердце вселил мне надежду,
что нас не осилят враги;

Кто ввел ко мне в комнату провод,
снабдил меня свежей водой,
кто молвил мне доброе слово,
когда еще был молодой.

О, как я от множеств зависим
призывов, сигналов, звонков,
доставки газеты и писем,
рабочих у сотен станков;

От слесаря, от монтера,
их силы, их речи родной,
от лучшего в мире мотора,
что движется в клетке грудной.

А что я собой представляю?
Не сею, не жну, не пашу —
по улицам праздно гуляю
да разве стихи напишу...

Но доброе зреет зерно в них
тяжелою красотой —
не чертополох, не терновник,
не дикий осот густой.

Нагреется калорифер,
осветится кабинет,
и жаром наполнятся рифмы,
и звуком становится свет.

А ты средь обычного шума
большой суеты мировой
к стихам присмотрись и подумай,
реши: «Это стоит того!»

1960

САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Я пишу обо всем,
что приходит мне в голову
и до сердца доходит;
что веселого
или тяжелого
наблюдаемо мной
в природе.
А приходит мне в голову
самое лучшее
из лучших:
пробирающийся
сквозь иглы колючие
солнечный лучик,
пробивающаяся
между плит исхоженных
молодая травинка,
выступающая
от чувств восторженных
на глазах слезинка;
все, что в жизни,
пестрея,
встретится
на пути-дороге;
все, что сердцем
в груди отметится, —
радости и тревоги.

И — хоть нравится,
хоть не нравится
эта кипень слова, —
за величие народа
здравицу
поднимаю стихами снова.

1958

ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

Был ведь свод небес голубой?
Бил ведь в скалы морской прибой?..
Будь доволен своей судьбой —
оставайся самим собой.

Помнишь, вился дым над трубой?
Воркотню голубей над избой?
Подоконник с витой резьбой?..
Будь доволен своей судьбой.

Лес был весь от солнца рябой,
шли ребята веселой гурьбой —
лезть на сучья, на птичий разбой,
пересвистываясь меж собой.

Ведал вкус не дурой губой,
не дул в ус пред дурой-судьбой,
не сходился с дружбой любой —
оставался самим собой.

Мята, кашка и зверобой
пахли сладко перед косьбой,
гром гремел нестрашной пальбой,
словно сказочный Громобой.

Не хвались удач похвальбой,
не кичись по жизни гульбой,
не тревожь никого мольбой —
оставайся самим собой.

Если сердце бьет вперебой,
если боль вздымает дыбой, —
не меняйся ни с кем судьбой —
оставайся самим собой!

1958

МЕД И ЯД

Июль задышал и зацвел
расплавленным липовым цветом,
и каждой из тысячей пчел
достойно назваться поэтом.

Ведь так они дружно поют
и так неустанна их муза,
что полнится ульев уют
запасами сладкого груза.

А те, кто нарушит их труд
и песню медового лада,
почувствуют огненный зуд
и разницу — меда и яда.

1960

РЕШЕНИЕ

Я твердо знаю: умереть не страшно!
Ну что ж — упал, замолк и охладел.
Была бы только жизнь твоя украшена
сиянием каких-то добрых дел.

Лишь доживи до этого спокойства
и стань доволен долей небольшой —
чтобы и ум, и плоть твоя, и кости
пришли навек в согласие с душой;

Чтобы тебя не вялость, не усталость
к последнему порогу привели
и чтобы после от тебя осталась
не только горсть ископанной земли.

И это непреложное решенье,
что с каждым часом глубже и ясней,
я оставляю людям в утешенье.
Хорошим людям. Лучшим людям дней!

1960

РЕЧЬ К МЕДИКАМ

Я к вам обращаюсь, врачи,
с речью болезненно смелою
и слышу в ответ: «Не ворчи!
Чудес мы покуда не делаем».

Созвать хоть бы целый коллоквиум
у многострадального ложа, —
ответят: «Новые легкие
мы вам предоставить не можем!

Вы сами ведь — в страсти и в ярости —
свои истрепали бронхи,
и вот вам пришлось на старости
почувствовать — как они плохи».

Отвечу научной братии,
что я их не обвиняю;
что́ в молодости мы истратили —
не требую и не меняю.

Но если, кормясь витаминами,
жизнь ограничив куцо,
глядеть, как с постными минами
другие жуют без вкуса;

И если, дыша размеренно,
стать бронхами снова богатым, —
переходить не намерен я
к жизненным суррогатам.

1960

ИВА

У меня на седьмом этаже, на балконе, — зеленая ива.
Если ветер, то тень от ветвей ее ходит стеной;
это очень тревожно и очень вольнолюбиво —
беспокойство природы, живущее рядом со мной!

Ветер гнет ее ветви и клонит их книзу ретиво,
словно хочет вернуть ее к жизни обычной, земной;
но — со мной моя ива, зеленая гибкая ива,
в леденящую стужу и в неутоляемый зной...

Критик мимо пройдет, ухмыльнувшись презрительно-
криво:
«Эко диво! Все ивы везде зеленеют весной!»
Да, но не на седьмом же! И это действительно — диво,
что, расставшись с лесами, она поселилась со мной!

1951

В ЧУЖОМ КРАЮ

В чужом краю роднёй мне стали птицы:
они, пересекая вкось стекло,
сказали мне, что — нужно торопиться,
чтоб время не бесцельно протекло!

В далекой Праге, в боковом квартале,
прикован к койке был болезнью я;
а птицы ряд за рядом пролетали,
как старые привычные друзья.

Должно быть, все они стремились к югу:
погода стала чересчур свежа;
летели птицы, близкие друг к другу,
крыло в крыло дистанцию держа.

Но почему ж они так стали сродны?
Их цели были дивно далеки,
движенья так отчетливо свободны
земным поступкам мелким вопреки.

Пускай вовсю враги мои судачат,
что недоступен мне большой полет, —
я не привыкну к мудрости сидячей
среди куличьих, праведных болот.

1959—1960

ДВОЕ ИДУТ

Кружится, мчится Земшар
в зоне огня.
Возле меня бег пар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь начпнает свой сказ
с азов.

Двое идут — шаг в шаг,
дух в дух;
трепет в сердцах, лепет в ушах
их двух.
Этот мальчонка был год назад
безус;
нынче глаза его жаром горят
безумств.
Эта девчурка играла вчера
с мячом;
нынче плечо ей равнять пора
с плечом.

Первый снежок, первый дружок —
двойник.
Как он взглянул — будто ожог
проник!
Снег, а вокруг них — соловьи,
перепела;

пальцы его в пальцы свои
переплела.

Стелят не сумерки, а васильки
им путь,
и не снежинки, а мотыльки —
на грудь.
«Не зазнобила бы без привычки
ты рук!»
Их, согревая без рукавички,
сжал друг.
«Ну и тихоня, ну и чудила,
тем — люб!
Как бы с тобою не застудила
я губ!»

Кружится, вьется Земшар,
все изменя.
Возле меня щек жар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь повторяет давний рассказ
с азов!

1950

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

Приход докучливой поры...
И на дороги
упали желтые шары
прохожим в ноги.

Так всех надменных гордецов
пригнут тревоги:
они падут в конце концов
прохожим в ноги.

1956

* * *

Вот и кончается лето,
яростно рдеют цветы,
меньше становится света,
ближе приход темноты;

Но — темноте неподвластны,
солнца впитавши лучи, —
будем по-прежнему ясны,
искренни и горячи!

1955

* * *

Стихи мои из мяты и полыни,
полны степной прохлады и теплыни.
Полынь горька, а мята горе лечит;
игра в тепло и в холод — в чет и нечет.

Не человек игру ту выбирает —
вселенная сама в нее играет.
Мои стихи — они того же рода,
как времена круговращенья года.

1956

ПРОСТЫЕ СТРОКИ

1

Среди зеленой тишины
нахлынувшего лета
не все вопросы решены,
не все даны ответы...

Но ясен мне один ответ,
без всяческой подсказки,
что лучше в целом мире нет
той, кто пришла из сказки;

Чьи неподкупные глаза
в лицо беды смотрели,
то голубея, как гроза,
то холодней метели.

Мне скажут: вот, опять про то ж!
Знакомая затея,
что лучше той и не найдешь,
кто зорьки золотее!

О вы, привыкшие к словам —
казенным заявленьям,
все это сказано не вам,
а младшим поколеньям!

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
мне и в жары без тебя — стыть,
мне без тебя и Москва — глушь.

Мне без тебя каждый час — с год,
если бы время мельчить, дробя;
мне даже синий небесный свод
кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать —
слабость друзей, силу врагов;
я ничего не хочу ждать,
кроме твоих драгоценных шагов.

3

Что же — привык я к тебе, что ль?
Но ведь, привыкнув, не замечают.
Все превращает любовь в боль,
если глаза равнодушно встречают.

А на тебя я — и рассержусь,
не соглашаешься — разругаюсь,
только сейчас же на сердце грусть,
точно на собственное не полагаюсь;

Точно мне нужно второе, твое,
если мое заколотится шибко;
точно одно у них вместе жилье,
вместе и горечь, и вздох, и улыбка.

Нет, я к тебе не привык, не привык,
вижу и знаю, а — не привыкаю.
Может, действительно ты — мой двойник,
может, его я в стихи облекаю!

1960

* * *

Любовь моя видела сон,
что нас расстреляли фашисты;
и замер предсмертный наш стон
под дикие визги и свисты.

Расстрел этот происходил
в просторе высокого зала;
их суд нас недолго судил:
им времени недоставало.

И вот уж когда ни застенок, ни власть
не страшны нам стали на свете, —
любовь моя облаком поднялась
и сделалась ангелом. Ангелом смерти.

Внизу бесновался фашистский содом,
и свастик загнутые когти кривились;
и новые жертвы прошли пред судом,
и новые призраки сна появились.

Тот ангел, спускаясь, лишь пальцем ноги
дотрагивался до голов ихних вражьих, —
как молнией, пав, поражались враги,
и плющились тульи их толстых фуражек.

Так ангелом мести парила она,
как снежное облако от дуновенья;
и не было в мире прекраснее сна,
и праведней не было сновиденья!

1961

ОСЕННИЕ СТИХИ

Взгляните на белые лилии,
на стройность их стеблей тугих,
на их молодые усилия
быть чище и выше других.

Следите за пламенным маком,
стремящимся к синеве
восстания огненным знаком
на ровно растущей траве.

А лица анютиных глазок,
которые расцвели,
как добрые гномы из сказок,
возникшие из-под земли.

А крупные яркие астры
в осенней сухой тишине
так пестры и разномастны,
что видимы и при луне...

Нет, лица цветов не бездушны!
Приметьте, как, слабо дыша,
в далекое небо послушно
от них отлетает душа.

1960

САХАРНО-МОРОЖЕНО

Сахарно-морожено,
аж снег скрипит;
все поле завороженно
сверкает — спит.

Сидят в квартирах
школьники,
стучат часы;
седой зимы
затворники —
в стекло носы.

Не то чтоб
мы захныкали,
то был бы срам,
но все-таки —
каникулы
иные снились нам.

Пришлось
погодой лютою
прикрыть катки,
как носа
ни укутывай
в воротники.

Но есть
такое мнение,
что сдаст мороз

и будет
потепление,
решив вопрос.

У мальчиков,
у девочек
сиянье глаз:
им хочется,
как белочкам,
пуститься в пляс...

Все елочки,
все сосенки
снег облепил;
не видят они
сослепу,
кто их ослепил.

Поутру рано
встанемте
и — на катки,
сменив на лыжи
валенки
и на коньки.

Помчимся
пританцовывая,
забелим бровь, —
на щечках враз
пунцовая
зардеет кровь.

И лыжни вновь проложены,
и вдаль бегом;
и сахарно-морожено
блестит кругом!

1959

ЗДРАВИЦА

Провозглашаем — Новый год!
Но совершенно новый!
Часов
какой-то новый ход —
не хмурый, не суровый.

Каких-то
новых слов раскат —
правдивых, добрых, нежных.
Каких-то
славных дел охват —
внутренних и внешних.

Чтоб новых
множество детей
средь множества растений
и новых радостных затей
и изобретений.

И много
новых ртов питать,
гордясь и улыбаясь.
И много
добрых книг читать,
в ночь, не отрываясь.

Расти,
высокая Москва,
в музеи сдав старинку.
Расти —
себе сама нова, —
и всем гостям в новинку.

Ведь новых дней
солнцеворот
пошел светить на лето,
чтоб рассиялся Новый год
могучей силой света.

Чтоб он блистал,
чтоб он сверкал
весельем и отвагой,
как этот
поднятый бокал
с мерцающею влагой!

1960

СОЛОВЕЙ

Вот опять
соловей
со своей
стародавнею песнею...
Ей пора бы давно уж
на пенсию!

Да и сам соловей
инвалид...
Отчего ж —
лишь осыплет руладами —
волоса
холодок шевелит
и становятся души
крылатыми?!

Песне тысячи лет,
а нова:
будто только что
полночью сложена;
от нее
и луна,
и трава,
и деревья
стоят завороженно.

Песне тысячи лет,
а жива:
с нею вольно
и радостно дышится;

в ней
почти человечьи слова,
отпечатавшись в воздухе,
слышатся.

Те слова
о бессмертье страстей,
о блаженстве,
предельном страданию;
будто нет на земле новостей,
кроме тех,
что как мир стародавние.

Вот каков
этот старый певец,
заклинающий
звездною клятвою...
Песнь утихнет —
и страсти конец,
и сердца
разбиваются надвое!

1956

К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Я обращаюсь к стихотворцу-другу,
к его таланта пламенному плугу,
которым он, взрывая сушь суждений,
готовил почву для живых рождений —
для выдумки, для сказки, для фантазий,
для слова, за каким в карман не лазай!

Вы самый удивительный рассказчик:
мы помним все ваш «Музыкальный ящик»,
в котором вы восстановили время,
осуществив былое в близкой теме.

Зачем же вам, который время сблизил,
предпочитать живому ветру дизель?
Живые чувства — паруса людские —
переводить на штампы заводские?
Передо мной вопрос неразрешимый:
зачем вам сердце заменять машиной?

Я сам писал про соловья стального,
пока не услыхал в ночи живого,
который пел с таким великим чувством,
что никаким не воссоздать искусством!

Я верю, и при взлете индустрии
нужны нам чувства, жаркие, живые.
Мы памятуем о машинном чуде,
но все ж у нас на первом плане люди.
Кто ж спутает с машинным звук сердечный,
рискует в пафос впасть бесчеловечный!

1959

ПОСЕЩЕНИЕ

Талантливые, добрые ребята
пришли ко мне по дружеским делам;
три — не родных, но задушевных брата,
деливших хлеб и радость пополам.

Обручены единою судьбою,
они считали общим свой успех,
но каждый быть хотел самим собою,
чтоб заслужить признание для всех!

Они расселись в креслах, словно дети,
игравшие во взрослую игру;
им было самым важным — стать на свете
собратьями великих по перу.

Дыханье, дух, душа — одно ли это?
И что же их роднит в конце концов?
Передо мной сидели три поэта,
желающих продолжить путь отцов.

Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.
А мне? Нельзя ли Баратынским стать?..
Был этот час торжественен и славен,
оправленный в достоинство и стать...

И я, традиций убежденный неслух,
поверил, что от этих — будет толк.
Три ангела в моих сидели креслах,
оставивши в прихожей крыльев шелк.

1960

ПЕСНЬ О ГАРСИА ЛОРКЕ

Почему ж ты, Испания,
в небо смотрела,
когда Гарсиа Лорку
увели для расстрела?
Андалузия знала
и Валенсия знала, —
что ж земля
под ногами убийц не стонала?!
Что ж вы руки скрестили
и губы вы сжали,
когда песню родную
на смерть провожали?!
Увели не к стене его,
не на площадь, —
увели, обманув,
к апельсиновой роще.
Шел он гордо,
срывая в пути апельсины
и бросая с размаху
в пруды и трясины;
те плоды
под луною
в воде золотели
и на дно не спускались,
и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал
и кидал он планеты, —
так всегда перед смертью
поступают поэты.

Но пруды высыхали,
и плоды увядали,
и следы от походки его
пропадали.
А жандармы сидели,
лимонад попивая
и слова его песен
про себя напевая.

1956—1958

* * *

Вещи — для всего народа,
строки — на размер страны,
вровень звездам небосвода,
в разворот морской волны.

И стихи должны такие
быть, чтоб взлет, а не шажки,
чтоб сказали: «Вот — стихия»,
а не просто: «Вот — стишки».

1947

ОТЛЕТ

Когда за окном проносятся птицы
и ты на них смотришь в чужом краю,
как сердцу застонется, загрустится,
захочется родину видеть свою!

Вмешаться в движение птичьего флота,
в мелькающий росчерк летучих стай...
За ними, за ними! Пора для отлета
в далекий, зовущий, влекущий край.

Когда за окном проносятся птицы,
крылом перечеркивая стекло,
как хочется вместе туда торопиться,
где взору просторно и сердцу тепло!

1959

ИЛЬЯ

Тридцать три он года высидел,
скудно ел и бедно жил;
в рост поднялся — крышу высадил,
вширь раздался — стены сбил!

И подался к бору хмурому
на великие дела
из-под города с-под Мурома,
с Карачарова села.

Он берег коня саврасого,
дальним скоком не моря;
а с плеча копье забрасывал
через горы и моря.

И до города до стольного,
удалая голова,
он донес народа вольного
заповедные права:

Чтоб боярам не потворствовать,
не давать им всюду путь;
лжи и злобе не покорствовать,
биться с ними грудь о грудь!

Тем и любо, тем и дорого:
он не князю угождал —
он берег страну от ворога,
от татар освобождал.

Так проехал он по времени,
по стране во все концы;
у его стального стремени
встали новые бойцы.

И, как весен свежих отклики,
в честь старинного Ильи
продолжают снова подвиги
богатырские свои.

1959

МИКУЛА

Все труднее передвигаться,
все дрожливей перо в руке:
завершается навигация
и на суше и на реке.

Что еще нам готовишь, старость?
Строй годов свалить на дрова?
Поселить на сердце усталость?
Забывать заставишь слова?

Все твои лихие посулы
ты на нас поистратишь зря, —
в нашем сердце — образ Микулы,
неустанного богатыря.

Он, закинувший в небо сошку,
поднимается в полный рост,
пролунив от земли дорожку
до могучих далеких звезд.

Ведь она-то назад не вернулась,
продолжает далеко летать,
миллионы раз обернулась,
чтоб и нас увлекала мечтать.

Разве ж мы не Микулы потомки
в богатырском нашем краю?
Разве мы в мировые потемки
не метнули вешку свою?!

Прошумело столетий чудо,
    отозвалось эхом в веках;
было — вестью древнего люда,
    стало — вещью в наших руках.

Да такое ль еще случится,
    до таких ли взмоем высот?
И от старости станем лечиться,
    прорываясь сквозь небосвод.

Станем жить — сколько воли станет,
    разве — если уж все надоест,
потемнеет, замрет, увянет, —
    на себе мы поставим крест.

Да навряд в нас кровь поостынет;
    ближе к солнцу переселясь,
мы и там, в мировой пустыне,
    установим с землею связь!

Так чего ж ты грозишься, старость,
    завывая под вьюги стон,
намывая на разум усталость,
    навевая на веки сон?!

Что ж, что трудно передвигаться, —
    сердце бьется, словно в сетях:
намечается навигация
    на всемирных дальних путях!

1959

БРОНЗА

Царь-колокол и царь-пушка...
Какая им нынче цена?
Как будто — старик и старушка —
старинные муж и жена.

Народу толпится немало,
вот кто-то и слово сронил:
«Она никогда не стреляла!»
«Да, но ведь и он не звонил!»

Расчет был на их многопудье,
угрюмый, старинный расчет...
Не бьет это чудо-орудье,
и колокол-чудо не бьет.

«Так чем же здесь можно гордиться?
Заумная старина!»
А все ж их хулить не годится —
не ихняя в прошлом вина.

1960

КУТУЗОВ

Кутузова считали трусом.
А он молчал. Не возражал.
Не потакал придворным вкусам —
и отступленье продолжал.

Вокруг него роились толки,
что он устал, что стал он слаб,
что прежних сил — одни осколки,
что он царю — лукавый раб.

Улыбки злобны, взгляды косы
вплоть до немых враждебных сцен;
доклады пишут и доносы
то сэр Вильсон, то Беннигсен.

Что им до русского народа,
до нужд его и до потерь:
они особенного рода,
мужик же русский — дикий зверь.

Зарытый в дебри да в болота,
живет во тьме он много лет.
Скачи, драгун! Пыли, пехота,
хотя бы прямо на тот свет!

А те, кто требовал сраженья
(чего и ждал Наполеон!),
случись бы только пораженье,
в двойной согнулись бы поклон.

О нем потом писали книги,
превозносился в нем стратег;
тогда ж вокруг одни интриги,
придворный холод, неуспех.

Стесняемый мундиром узким,
он должен был молчать, терпеть...
То был душой, без крика — русский,
что завещал и нам он впредь!

1960

ВЕЛИКИЕ

Лев Толстой
проходил по земле босиком,
чтобы голой подошвой
чувствовать теплую землю.
Каждой малой былинке
был шаг его легкий знаком,
каждой светлой росинке
и каждому свежему стеблю.

Ленин
ел тот же хлеб,
что ели и мы.
Тем же горем болел,
что и вся громада народа...
В гости брали к себе
великие мира умы,
не поворачивая спину у входа.

В гости брали к себе —
в свой мир, в свой дом:
память — уровнем чаши —
все глубже полнится ими...
Эти низкие комнаты
осваивались с трудом
и наконец становились
совершенно своими.

Ясная ли Поляна —
два каменных столба,

словно два часовых
у сердца нашего въезда.
Это — наша природа,
это — наша судьба,
та, что в память навеки
впечатается и въестся.

До Симбирска не близко —
через Оку и Суру,
через Рязань и Саранск,
к самой средине Волги...
В низенький палисадник
снова уносят нас
думы о нем, мечтанья,
воспоминанья, толки.

Мы несем его в сердце —
великой земли нашей сына.
Ничему, кроме правды,
не придавал он на свете цены.
С каждым юношей был он
и с каждым мужчиной,
даже с каждым ребенком
своей страны.

И страна ему отвечала
полным биением сердца —
на каждое его слово,
на каждый его призыв.

Так
с вершиной народа
связью тугой, суровой
связываются навеки
народа
низы.

1956—1959

БОГАТЫРСКАЯ ПОЭМА

(Землякам-курянам)

А мои ти куряни свѣдоми къмети...
«Слово о полку Игореве»

1

Был я молод, а стал я стар,
время лезть к зиме на полати,
но сердечный юности жар
до сих пор еще не истратил.

Кто в Евангелие, кто в Коран, —
веры многие есть на свете, —
я ж поверил в своих курян —
сведомых кметей!

Что же это за «сведоми кмети»,
что в поход подымали стяги?
А по-моему, это
были курские работяги.

На конях князья разъезжали
в шишаках узорных;
кметы ж в лаптях врагов отражали
в тех боях упорных.

А когда эти битвы стихали,
князь сиял, славословьем украшен;

кметы ж вновь боронили, пахали
черноту наших пашен.

Знал я их, будто век с ними жил,
будто б конь ходил за сохою,
пил и ел, и коней сторожил
летней полночью темной, глухою...

Их глаза были синью небес,
облака были бородами;
их запястий тяжелый вес
перебрасывался пудами.

И когда, бороздой семеня,
нес я полдничать им на поляны,
до небес поднимали меня,
вскинув на руки, великаны.

Приподняв к самим небесам,
вновь меня опускали на почву,
чтоб я чувствовал землю сам
под босою ногою прочно.

Говорят, электричество в ней
проникает через подошвы:
кто ступает босой ступней,
тот становится сильный и дошлый!

Ничего, что лишь лук да квас,
да краюха в чистой тряпице, —
прибавлялся силы запас,
помогал на земле укрепиться.

И, читая потом про Илью,
про Микулу читая былины,
я прикладывал их к былью
земляков моих курских старинных.

Близко видел я их вокруг,
солнцебровых древлян плечистых,
поворачивавших, как плуг,
жизнь свою в свете зорь лучистых.

2

Был расписан церковный свод
во святых угодников лики;
за царей, за дворян-господ
возносили дьяконы клики...

Но в туман уходили года
мятежей, коронаций, свадеб...
И умчались вскачь господа
из своих сожженных усадеб.

Гордецы у нас мужики:
им не надо с нуждою знаться,
им не надо теперь в батраки
к кулаку идти наниматься!

Величава у баб наших стать:
им не пробовать рабской лямки
и не надо себя продавать
к богатеям в кормилки-мамки!

Хоть и знаю — невмоготу
всех курян назвать поименно, —
поднимаю на высоту
нашей области Курской знамена,

Что в ряду других областей
не отстала, не ослабела
и из дробных земель-волостей
стала частью великого целого.

Та земля, что старинной была,
но, за облако сошку кинув,
на великие чудо-дела
разогнула могучую спину.

И всей правдой своей души
поняла: коммунисты правы!
И пошла, как пожары, тушить
всенародных врагов оравы.

И построила новый дом,
и засеяла новое поле,
и своим помогла трудом
всесоветской великой воле.

3

Хороша наша Сейм-река,
хоть она не Ока, не Волга,
но по зарослям ивняка
соловьи гремят без умолка.

А по берегу до зари, —
чем рассвет золотей и ширше, —
ходят парни-богатыри,
ходят девушки-богатырши...

Ну, а как их иначе назвать?
Если — вы посудите сами —
тут какие слова ни трать,
их дела назовешь чудесами.

Ничего, что был лук да квас,
да краюха в чистой тряпице, —
уж такой у нас сил запас,
что другим надо торопиться.

Ведь такие теперь дела
наша область стала ворочать, —
ни в какие колокола
ею сделанного не опорочить!

И горжусь я и веселюсь,
пусть и в сердце старостью ранен,
что сильна моя новая Русь
и что я ее сын — курянин!

1959

БУХТАРМА

Эх, Бухтарма!
Ох, Бухтарма!
Ты нам досталась
не задарма, —
люди в тебя вложили
сердце, и ум, и жилы.

Гулкое имя твое, Бухтарма!
Громкое имя твое, Бухтарма!
Сгрудились в нем трудовые грома:
звук топора о лесные стволы,
ропот потока о стены скалы,
грохот камней с самосвала,
гром подрывного запала.

Что мне пейзажи Сьерра-Невады,
что мне размеры гигантских секвой!
Мне никаких описаний не надо, —
кедр наш сибирский
торжественен свой.

Но не везде, не всегда хороша
неукротимая ширь Иртыша.
Если бы был на свете бог,
тяжче и он бы придумать не смог —
хаоса вздыбленных в небо круч,
холода снежных нависших туч
и меж кряжей могучих
в кручах рожденный ключик,

Черный Иртыш,
горный Иртыш,
где ты, прорвавшись,
свой бег укротишь,
врезавшись без дороги
в каменные отроги?!

Эка вода, холодна и свежа,
скалы распарывает без ножа;
льется в кипенье пены,
рвется в крутые стены.

Если бы демон существовал,
он бы покинул Дарьяла провал,
тенью ночной отлетая
к горным ущельям Алтая.

Если б имелся на свете бог,
он бы навряд ли людям помог
вызвать свет
из предвечной тьмы.
Но — бога нет,
а есть — мы!

Мы не демоны и не боги,
много преград
на нашей дороге,
но, сыновья многодетной семьи,
ученики всенародной скамьи,
мы повседневно рады
сбросить с дороги преграды!

Эй, Бухтарма!
Эх, Бухтарма!
Не за роскошные жизни корма
и не за длинные премий рубли
мы тебя выстроили и возвели.

Вот мы брели по колена в воде,
сбить нас пытавшейся весом своим;
непобедимые в нашем труде,
на стометровой плотине стоим.

На Иртыше я не бывал,
я его только на снимках видал;
лишь поднебесной высью
я пролетал над ним мыслью.

Но Бухтармы молодые огни —
в сердце моем засияли они;
видно, сиять им повелено
прочным заветом Ленина!

Люди по этим заветам пошли
вровень иртышским волнам,
на удивление всей земли,
что порешили — исполним!

Вот, Бухтарма!
Так, Бухтарма!
Ныне расскажешь ты миру сама,
ставши света оплотом
всем трудовым широтам!

1960

* * *

Мы будем, мы будем
рассказывать людям,
разбуженным гражданам,
о самом важном.

Мы станем, мы станем
втолковывать странам,
закатным и южным,
о самом нужном.

Молотком по зубилу
удар за ударом,
чтоб слышимо было
и юным и старым.

Молотком по зубилу,
молотком по зубилу,
чтоб видимо было,
чтоб слышимо было.

Работа тяжелая,
трудная очень,
но труд этот прочен,
всей жизнью оплочен.

И выйдет на свет
из глубин непочатых
всех прожитых лет
стальной отпечаток.

Молотком по зубилу
удар за ударом,
чтобы понято было
всем земным шаром.

1960

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Человек с открытым сердцем
будущего племени
не причастен к черным зверствам
атомного времени.

Колоколом, барабаном
бьется пульс истории,
расширяет грудь раба он,
множит ритмы скорые!

Человек с открытым взором
утреннего зарева,
он особым разговором
может разговаривать.

Не заздравными речами,
не угрозы знаками,
а звенящими ручьями,
полевыми злаками.

Он во весь свой рост восстанет
заглянуть в грядущее,
он его рукой достанет —
медленно идущее.

Нет, не сгинет, не исчезнет
сердце человечества
ни от лучевой болезни,
ни от прочей нечисти!

Для него пишу стихи я,
не скажу — волшебные,
не такие, не сякие,
попросту — душевные.

Мне бы, обратясь к народу,
речь сказать высокую,
чтоб глядеться, словно в воду,
в ясность многоокую.

Да ведь вот — иное слово,
сильное и доброе,
не созрело, не готово,
в закрома не собрано!

1961

СЕМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО

Я проснулся сегодня радостный,
огляделся счастливым взглядом:
радость бьется в душе — нету сладу с ней,—
ведь она со мной здесь, рядом!

Добролюбая, светлоплечая,
затененная дымкою сна —
и сказать о ней больше нечего:
нестареющая весна!

Небо дымится грозами,
в жаркий июль одето;
пахнет сосной и розами
семидесятое лето.

Вы, кому только двадцатое,
кто лишь вступает в стремя,
я не завидую и не досадую:
всякому свое время.

Время мое величавое,
время мое молодое,
павшее светом и славою
в обе мои ладони.

Вам, кому времени вашего —
новые долгие годы,
вам расцветать, выколашивать
наших посевов всходы.

1959

СОЗИДАТЕЛЮ

Взгляни: заря — на небеса,
на крышах — инеем роса,
мир новым светом засиял, —
ты это видел, не проспал!

Ты это видел, не проспал,
как мир иным повсюду стал,
как стали камни розоветь,
как засветились сталь и медь.

Как пробудились сталь и медь,
ты в жизни не забудешь впредь,
как — точно пену с молока —
сдул ветер с неба облака.

Да нет, не пену с молока,
а точно стружки с верстака,
и нет вчерашних туч следа,
и светел небосвод труда.

И ты внезапно ощутил
себя в содружестве светил,
что ты не гаснешь, ты горишь,
живешь, работаешь, творишь!

1946

* * *

Мозг извилист, как грецкий орех,
когда снята с него скорлупа;
с тростником пересохнувших рек
схожи кисти руки и стопа...

Мы росли, когда день наш возник,
когда волны взрывали песок;
мы взошли, как орех и тростник,
и гордились, что день наш высок.

Обнажи этот мозг, покажи,
что ты не был безмолвен и хром,
когда в мире сверкали ножи
и свирепствовал пушечный гром.

Докажи, что слова — не вода,
времена — не иссохший песок,
что высокая зрелость плода
в человечий вместилась висок.

Чтобы голос остался твой цел,
пусть он станет отзывчивей всех,
чтобы ветер в костях твоих пел,
как в дыханье — тростник и орех.

1956

* * *

Слушай же, молодость, как было дело,
с чего начинали твои старики,
как выступали бодро и смело
в бой с белой гвардией большевики.

Сегодня мне хочется вспомнить о тех,
кто в памяти сердца заветно хранится,
чьи неповторимые голос и смех —
как жизнью отмеченная страница...

Однажды, домой возвращаясь к рассвету
мимо кремлевских каменных стрел,
быстро идущего Ленина встретил, —
но вслед обернуться ему не посмел.

Он шел одиночным ночным прохожим,
быть может — воздухом подышать;
меня восторг пронизал до дрожи,
я так боялся ему помешать.

Я б хотел для грядущих, не только для нынешних,
изучающих рост государства ребят,
воссоздать звонкий голос Марии Ильиничны
и пристальный Надежды Константиновны взгляд...

Я встречался с Калининым в кабинете «Известий»;
он спорил с нами о значенье стихов,
и нам хотелось побыть с ним вместе
хоть до вторых петухов...

Простые, большие, сердечные люди,
кто был всех цитатчиков строгих умней,
кто предвосхитил в тогдашние будни
улыбки сегодняшних, праздничных дней!

1961

НАЧАЛО

Время летело
с пламенным флагом,
с места сорвавшись,
мчалось вперед
по городам,
перелескам,
оврагам:
«Переворот!
Переворот!»

Переворот
в солдатском сознании,
переворот
в крестьянском уме,
переворот
в разумном создании,
свет в вековой
отступающей тьме!

Все,
кто душою жаркий и юный,
все,
кто за правду драться решил, —
знамя Советов,
знамя коммуны,
знамя сознания
собственных сил!

1960

ВРЕМЯ ЛЕНИНА

Время Ленина светит и славится,
годы Ленина — жар революций;
вновь в их честь поднимаются здравицы,
новые песни им во славу поются.

Ленина голос — весенних ладов —
звучным, могучим звенел металлом;
даль деревень, ширь городов,
словно по воздуху, облетал он.

Разум народный с ним был заодно,
только враги его не выносили;
нам же он был бесконечно родной
в ясности, в яркой правдивости, в силе.

Люди входили подвигом памятным
в темное царство — светом луча,
но убедил весь народ стать грамотным
только светлый ум Ильича.

Всем его правду слушать охочим
силу тройную давал он бойцам:
«Землю — крестьянам, заводы — рабочим,
мир — хижинам, война — дворцам!»

Время ложится на плечи, как бремя,
но отошедшее далеко
ленинское неповторимое время
помнится радостно и легко.

1960

НИКЕМ НЕ СЛЫШИМЫЙ СТУК СЕРДЕЦ

День за днем,
недели за неделями
мчатся вихрем,
как на состязанье;
словно бы
в стальное время сели мы
и летим
с открытыми глазами.

Через нас
такая быль проносится —
звон в ушах,
и сердце втрое бьется,
словно
вон из ребер
прыгнуть просится,
это
лишь ему и остается!

Если ж сердце
удержать стараются,
бьет оно тревогу
вкось и криво!..
Очень часто
сердце
разрывается,
только
гул не слышен
от разрыва.

1959

ЗАПАД

Запад, Запад! Где свежесть твоя?
Где зеленых лужаек края?
Где дубрав густолиственный шум?
Где властители сердца и дум —
Диккенс, Смоллетт и Теккерей?
Нависает туман все сырей...
Над усталостью согнутых спин
торжествуют лишь «Домби и сын».

Запад, Запад! Где радость твоя?
Все, что ты создавал, не тая?
Где торжественной музыки свет?
Он умолк, он погас, его нет!
Где Бетховен, где Моцарт, где Лист?
Злобных джазов пронзительный свист,
вывих нервов, истерики дрожь,
ложь газет и ораторов ложь.
Что им Шуман, и Гете, и Бах?
Властелины их — деньги и страх.
Лишь бы лился в карман богачей
золотой непрерывный ручей!

Запад, Запад! Где властность твоя?
Где достоинство бытия?
Где твоих революций плоды?
Где твоих коммунаров следы?
Вспомни, как, победив произвол,
ты вперед человечество вел.

Вспомни, как, обнаружив свой гнев,
ниспроверг королей, королев.
Где тех бурь, тех событий черты?
Что ж на них не откликнешься ты?!

Запад, Запад! Где гордость твоя?
Кто враги у тебя? Кто друзья?
Что за птицы, пронзившие высь
над тобой, скрежеща, пронеслись?
То — Америки сторожа,
помрачив небосвод голубой,
водородные бомбы держа,
патрулируют над тобой.
Для чего и кому они в страх —
превратить все живое во прах?!

Запад, Запад! Я верю, что так
не продолжит история путь,
что развеется пепельный мрак,
расползется и скроется муть!
Небеса станут снова ясны
над святой коммунаров стеной,
и твоих просветителей сны
станут явью реальной, земной.
Перестанут процент и барыш
верховодить твоею судьбой,
а рабочих предместий Париж
и предместья столицы любой
управлять станут, Запад, тобой!

Вот с таким новолетьем тебя,
европейских народов семья, —
мир, и дружбу, и радость любя,
поздравляю заранее я!

1958

БЕЗУМЬЕ НАД РЕЙНОМ

> Пловец и лодочка, знаю,
> Погибнут среди зыбей;
> И всякий так погибает
> От песен Лорелей.
>
> *Гейне*

Опять,
как в былые года,
над Рейном
поет Лорелея:
«Плывите,
спешите сюда,
гребите на гибель
скорее!»
Она
по-немецки поет
над старой
немецкой скалою,
и тенью былого
встает,
и песней тревожит
былою...
Ее
золотая коса
сверкает огнем
на закате,
и сердце
ужалит оса,
и душу
томленье охватит.

И люди
стремятся опять
на зыбком
забыться просторе,
и жизнь
обращается вспять,
и небом
становится море!
И как бы
ни далека
была эта песня
от суши —
им видится
тень челнока
и дева,
влекущая души...
Забыли мы все,
что давно
у Генриха Гейне
воспето, —
зловещею
стариной
вставало
видение это.
Но вновь,
как в былые года,
от жажды наживы
хмелея,
высокие
господа
готовят броню
Лорелее.
И вновь
ее призрак встает
над Рейна
высокой скалою,
и вновь
Лорелея поет,
историей теша
былою.

И песня
проносится вдаль,
и вот —
уж совсем не водица —
легированная
сталь
изложьями Рейна
струится!
«Сходитс,
сводите с ума,
скользите по волнам
скорее!» —
Зовет вас на гибель
сама
безумная
Лорелея!

1959

УРУГВАЙ

Мне друзья мои, книги, рассказали о многом,
приподняв меня над горизонта порогом,
пересекши границы, и моря, и болота
легче самого быстрого вертолета.

Вот и нынче, из дома не выезжая,
побывал я на пастбищах Уругвая,
где в степях подрастает первосортное мясо,
где быки и бараны, как потоки, струятся.

Познакомился я с гаучо — пастухами,
что Эрнандес воспел огневыми стихами;
тот Эрнандес Хосе был поэтом пастушьим,
не чуравшимся близости к тучам и к тушам.

Пастухи эти — люди отменного роста,
сохранившие вольных людей благородство;
стерегут они бычьи и овечьи отары
под губные гармоники и бренчанье гитары.

Это негры, креолы, индейцы да баски —
люди общей судьбы, хоть и разной окраски;
поднимает их засветло с ложа забота —
запах бычьей мочи и овечьего пота.

Не затем до рассвета на коней им садиться,
чтобы утренней свежестью насладиться;
из загонов гурты они гонят лугами,
где быки за луну задевают рогами.

От трудов ни награды им, ни поощренья,
только стрижка овец да быков холощенье;
первосортное мясо поедается в Штатах,
им же — дыры на шляпах да одежда в заплатах.

Их семействам нельзя проживать при поместье,
в отдаленном поселке их лачуги из жести...
Но помещики хмурятся в злобе и в страхе,
видя взоры, сверкающие, как навахи!

1958

ЗА КУБУ!

За Кубу голос подымите,
поэты разных стран,
не дайте наймитам-бандитам
осуществить их план!

За Кубу подымите голос,
поэты всей земли,
чтоб небо в громах раскололось,
чтоб сор с земли смели!

Встань, Африка, в защиту Кубы
сестрой, плечо с плечом,
чтоб не сомкнуться силе грубой
в союз меча с бичом!

И Азия, встань с Кубой вместе.
Австралия! В ряды!
Чтоб не считать в себе бесчестье —
такой беды следы!

Она вам не чужая, Куба, —
в ряду родных людей.
Капитализма метят зубы
вонзиться в горло ей.

Здесь равнодушных больше нету,
народов совесть есть.
Любому в свете континенту
близка свободы честь.

За Кубу голос подымите,
поэты всей земли,
чтоб смылись наймиты-бандиты,
как сор, с лица земли!

1961

РАЗОРУЖЕНИЕ

Разоружение!
Торжественное слово.
Как будто тяжкий груз
опущен с плеч.
До слуха долетев,
оно к себе готово
всех стран земли
внимание привлечь.
Представьте:
все линкоры,
пушки,
танки —
не так это
легко вообразить —
пойдут на слом,
на шихту,
на болванки,
чтоб людям
больше смертью не грозить!
С исчезновением
военного бюджета
довольство
станет всюду создано:
все человечество
обуто и одето,
накормлено
и обогрето
и в мирные труды
погружено.
Мы уничтожим
всех носителей заразы,

что остальных
опасней и страшней:
бациллы Коха,
рака метастазы
не смогут запускать в тела
своих клешней.
До сей поры Кащей —
людьми плененный атом,
всемирное
страшилище беды —
отныне станет в строй
трудов могучим братом,
пустыни
превращающим в сады.
И будет создан
межпланетный лайнер.
Предпринимая рейсы
в мир иной,
туристы полетят
на скорости сверхкрайней
во все концы
Галактики земной.
Разоружение!
Торжественное слово.
Объединенным Нациям
оно
веленьем Родины
и голосом Хрущева
объявлено
и провозглашено...
Стихи ли это?
Да, стихи.
Но трезвой складки, —
реального значения
стихи,
воспеть желающие
мирные повадки,
а не в сердца
вонзенные штыки!

1959

ЕЩЕ ЗА ДЕНЬГИ ЛЮДИ ДЕРЖАТСЯ

Еще за деньги
люди держатся,
как за кресты
держались люди
во времена
глухого Керженца,
но вечно
этого не будет.
Еще за властью
люди тянутся,
не зная меры
и цены ей,
но долго
это не останется —
настанут
времена иные.
Еще гоняются
за славою, —
охотников до ней
несметно, —
стараясь
хоть бы тенью слабою
остаться на земле
посмертно.
Мне кажется,
что власть и почести —
вода соленая
морская:

чем дольше пить,
тем больше хочется,
а жажда
всё не отпускает.
И личное твое
бессмертие
не в том,
что кто́ ты,
ка́к ты,
где́ ты,
а — всех земных племен
соцветие,
созвездие
людей планеты!
С тех пор,
как шар земной наш кружится,
сквозь вечность
продолжая мчаться,
великое
людей содружество
впервые
стало намечаться.
Чтоб все —
и белые,
и черные,
и желтые
земного братства —
вошли в широкие,
просторные
края
всеобщего богатства.

1956

ПАМЯТНИК

Нанесли мы венков — ни пройти, ни проехать;
раскатили стихов долгозвучное эхо.

Удивлялись глазастости, гулкости баса;
называли певцом победившего класса...

А тому Новодевичий вид не по нраву:
не ему посвящал он стихов своих славу.

Не по нраву ему за оградой жилище,
и прошла его тень сквозь ограду кладбища.

Разве сердце, гремевшее быстро и бурно,
успокоила б эта безмолвная урна?

Разве плечи такого тугого размаха
уместились бы в этом вместилище праха?

И тогда он своими большими руками
сам на площади этой стал наращивать камень!

Камень вздыбился, вырос огромной скалою
и прорезался прочной лицевою скулою.

Две ноги — две колонны могучего торса;
головой непреклонной в стратосферу уперся.

И пошел он, шагая по белому свету,
проводить на земле революцию эту:

Чтобы всюду — на месте помоек и свалок —
разнеслось бы дыхание пармских фиалок;

Где жестянки и щебень, тряпье и отбросы,
распылались бы влажно индийские розы;

Чтоб настала пора человеческой сказки,
чтобы всем бы хватало одеяла и ласки;

Чтобы каждый был доброй судьбою отмечен,
чтобы мир этот дьявольский стал человечен!

1956

* * *

Что такое счастье? Соучастье
в добрых человеческих делах,
в жарком вздохе разделенной страсти,
в жарком хлебе, собранном в полях.

Да, но разве только в этом счастье?
А для нас, детей своей поры,
овладевших над природой властью,
разве не в полетах сквозь миры?!

Безо всякой платы и доплаты,
солнц толпа, взвивайся и свети,
открывайтесь, звездные палаты,
простирайтесь, млечные пути!

Отменяя летоисчисленье,
чтобы счастье с горем не смешать,
преодолевая смерть и тленье,
станем вечной свежестью дышать.

Воротясь обратно из зазвездья
и в слезах целуя землю-мать,
мы начнем последние известья
из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье по плечу нам —
мыслью осветить пространства те,
чтобы мир предстал живым и юным,
а не страшным мраком в пустоте.

1957

НЕБО

Небо — как будто летящий мрамор
с белыми глыбами облаков,
словно обломки какого-то храма,
ниспровергнутого в бездну веков!

Это, наверно, был храм поэзии:
яркое чувство, дерзкая мысль;
только его над землею подвесили
в недосягаемо дальнюю высь.

Небо — как будто летящий мрамор
с белыми глыбами облаков,
только пустая воздушная яма
для неразборчивых знатоков!

1956

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

В глубину вселенской бездны
проникает луч ума:
им — простор разведан звездный,
им — отмыта ночи тьма.

Спросят будущего дети:
«Что за «злато» есть на свете?
Златоуст и златоцвет —
есть в них золото иль нет?»

Им расскажут о металле,
что далекой стариной
люди прошлого считали
выше всех иных ценой;

Что к нему тянулся нищий,
что копил его богач,
что оно считалось высшей
мерой счастья и удач.

Мы живем иною целью,
мы стараемся затем,
чтобы стала жизнь — весельем,
чтоб легко дышалось всем;

Чтобы правдою одною
человечеству служить,
над поверхностью земною
тракт на звезды проложить.

Это — сказка и не сказка,
с дальних звезд цветная пыль;
это — с будущим завязка,
это — будущего быль!

1959

ЕЩЕ О ЗВЕЗДЕ

У Венеры была манера
появляться пред самой зарей...
Утро шло, как отряд пионеров,
по долине глухой и сырой...

И когда ее лунное тело
пламенело сиянием линз,
вся земля онемело летела
кувырком, прямо в ноги ей, вниз!

А когда она выше взлетала,
тая яблочком римской свечи,
солнце шло в полыханье металла,
расщепляя о скалы лучи.

1951—1961

МАТЕРИЯ

Ты знаешь ход космических лучей,
который сквозь тебя струится?
Ведь это — мировой ручей
тебя связать с величием стремится!

Ученые сказали нам о нем:
ни с чем не схож он, ни чему не равен —
его не назовешь ни светом, ни огнем,
не видим он, не ощутим, не явен.

Но им и ты, и атом, и болид
со всей вселенной связан крепко, насмерть.
И в этом мире ты — не инвалид,
тебе бессрочный выдан паспорт.

Ты трудишься, мечтаешь или спишь,
а он идет, идет ежеминутно
сквозь миллионы этажей и крыш,
и вдруг — его почувствуешь ты смутно.

И вот тогда — ты парень мировой!
Не для словца, а в полном смысле слова.
И на призыв, незримо зоревой,
твоя душа стремительно готова.

1959

ЕСТЬ ЛИ БОГИ НА ЛУНЕ?

С богатым
прочно сжился бог.
Загородившись Спасом,
сиял богатого
чертог
богов иконостасом.

А с бедным
бес лишь ладить мог,
приноровившись
к массам;
им бог
не золотил порог:
питались редькой
с квасом.

В богатого
не метил бес,
боялся черт рогатый, —
богатых бог
хранил с небес,
и был силен богатый!

А бедный
гляпет в небеса,
чуть свет
вскочив в исподних, —

с небес ему
одна роса
от всех щедрот
господних.

Ему бы вновь
зажмурить глаз,
поспать бы час охота,
но с неба бас —
на пятый глас:
«Вставай, бедняк,
работай!
Работу, божий раб, люби!
Не будь в работе промах,
паши, коси,
коли, руби
за богачей в хоромах!»

Окончилась
богатых власть,
конец былого света!
Пришлось богам
в цене упасть.
При нас случилось это.

А тем, кто хочет
старины,
обманываться —
стыдно!
Хоть облети
вокруг Луны —
богов
нигде не видно!

1959

РАКЕТА

На мир войны, запутавшийся в плутнях
фальшивых слов и бессердечных дел,
взглянул с высокой точки зренья спутник,
взглянул, сверкнул и мимо полетел.

Вы угрожали нам с позиций силы,
рассчитывая превратить нас в прах,
а наша мысль ракету возносила,
чтоб сделать во вселенной первый шаг.

Вы строили вкруг нас за базой базу,
мильярды тратя на игру с огнем,
не ведая, что — если нужно — сразу
в любую точку мы перемахнем.

Я твердо верю, страстно верю в это,
что зверь войны в стальную загнан клеть,
что, став на цель, сверхдальняя ракета
не вынуждена будет полететь!

1957

ЗВЕЗДНЫЕ СТИХИ

> Послушайте!
> Ведь, если звезды зажигают —
> значит — это кому-нибудь нужно?
>
> *Маяковский, «Послушайте!»*

Заявка

В преддверье межпланетных путешествий,
когда ракеты рвутся напролом,
не стыдно ль нам, как курам на нашесте,
сидеть, прикрывши голову крылом?

Земного притяжения уздою
прикручены к полям, к лесам, к горам,
таинственную встречу со звездою
мы представляем только по стихам.

Небо

Над вечности высотою,
рассыпанная по безднам,
звезда говорит со звездою
на языке небесном.

В теченье бессонных часов,
в великом безмолвии мира,
мне слышится хор голосов:
то — Вега, то — Дева, то — Лира.

К бесчисленным миллионам
прислушаться я усиливаюсь:
о чем говорит с Орионом
вовсю рассверкавшийся Сириус?

И Млечный рассеянный Путь,
подобием барсовых пятен
пестрящий небесную грудь,
мне явен и ясно понятен...

Но если беседуют звезды со мною,
то, значит, я что-нибудь стою
с моей небольшою земною
мерцающею звездою!

Наблюдение

На утреннем свете,
когда только чуть рассветало,
как рыба, попавшая в сети,
звезда трепетала.

Небесное тело,
одна в беспредельности неба,
она не хотела
померкнуть бесследно и слепо.

И мы порешили, что сами,
взлетев над воздушным порогом,
ее небесами
помчим по безвестным дорогам.

Полет

Нас мчало, и мчало, и мчало
со скоростью неизменной —
к началу начала,
в дыханье плывущей вселенной.

Мы плыли, и плыли, и плыли,
ракетой несомы,
в пределах космической пыли,
собой невесомы.

И вдруг показали приборы,
звонки зазвенели,
что скоро, что скоро,
мы будем у цели.

Тогда мы пошли на сниженье,
как будто свалившись с вершины,
замедлив движенье
могучей разумной машины...

Затем мы сошли на планету,
не нашу, иную,
совсем не такую, не эту,
ничуть не земную.

Сошли не на грунт, не на почву,
не в воздух, не в воду:
на неощутимое точно
и нам непривычное сроду.

Земным именам не коснуться
таких неземных впечатлений;
казалось бы, можешь проснуться,
но материализуются тени:

То горы... Но это не горы!
И тучи... Но нет же, не тучи!
То люди иль метеоры
медлительно движутся с кручи?!

Шестое? Девятое чувство?
Двенадцатое? Не запомнишь!
Подай же нам руку, Искусство,
приди нам скорее на помощь.

И очень пришлось бы нам туго,
замглила б нас навеки млечность,
когда б мы не встретили друга,
ушедшего ранее в вечность.

Встреча

В несуществующее время,
в отсутствующее пространство
летим, вдвоем с тобой дружа,
объединясь в заветной теме,
все пламенней и беспристрастней, —
вселенской цели сторожа.

Без воздуха, воды и тверди
летим в безмерии бессмертья,
из жизни вынесши урок, —
летим лиловою вселенной,
следя за сменой постепенной
паденья молнийного строк.

Нет, мы не призраки, не тени —
напоминанье об Эйнштейне,
неповторимости лучи, —
мы дети дерзостной науки,
переведенное на звуки
сиянье мировой свечи.

Мы в существе неразделимы...
Года напрасно мчатся мимо,
пускай нас тщатся разлучить,
чтоб не был ты самим собою,
чтоб стал ты с тенью схож любою,
чтобы тебя не отличить.

Пускай биографы, судача,
хотят, чтоб выглядел иначе,
все измеренья изменя;
тех, с кем душа твоя дружила,
не может никакая сила
переменить, искореня!..

1958—1959

* * *

От звезды и до звезды
сорок тысяч лет езды.

Эти годы, время это —
скорость прохожденья света.
Звуки крепнут, льдины тают,
время мчится без узды, —
в это время расцветают
Детскосельские сады.

Это время — чистых далей,
точных вкусов, тонких талий.

Хлещут флаги, блещет сцена,
над лугами пахнет сено;
городская тишина
резких звуков лишена;
подоконник снегом пухлым
липнет к гофмановским куклам;
и на доброе здоровье
под приютным огоньком
молодое предисловье
пишется Рудым Паньком.

Но — сменяются созвездья,
и в наплывах темноты
каменеют Страшной Местью
человечества черты.

В эти годы, годы мрака,
длится человечья драка.

От души и до души
лягут годы — голыши;
годы грохота и гула,
вместо лиц стальные дула;
залпы, залпы метят лечь
в человеческую речь.

Это годы непогоды,
это долгие года:
одичалые народы,
брошенные города.

...Губы суше, взгляды резче,
ни улыбки, ни слезы;
и над всем стоит зловещий
отблеск грянувшей грозы.

...Многократным повтореньем
охлажденные слова —
точно снятая с кореньев,
в пыль примятая трава.

Только Днепр еще струится,
в чистых чувствах оскорблен;
только Гоголя страницы
не подходят под шаблон.

...Что там брезжит, что маячит,
что дымится на пути?
Что надежду глухо прячет
в самом сердце взаперти?

Это — новых звезд круженье,
это — вечности рука,
приводящая в движенье
преходящие века.

Так давайте встанем цепью,
чтобы встретить звездопад,

чтобы всадника над степью
вызвать тень из за Карпат.

Вот он встал, как в старой сказке,
вот он руку протянул:
по ущелинам карпатским
прокатился долгий гул.

Вот он веки подымает,
и за страшные дела
он предателя срывает
с навкось сбитого седла.

И злодей несется, взвизгнув,
вечер меркнет, степь кипит,
две звезды взлетают, брызнув
у коня из-под копыт...

Все случается, как надо,
все сбывается, как есть.
Потухает звездопада
завершаемая месть.

Чтобы снова Днепр бесшумный
отражал движенье лун,
чтобы дочери безумной
не убил старик колдун.

...Шла беда Наполеоном,
Гитлер мнил грозою стать,
чтобы после долгим стоном
грудь Европы надрывать,
чтобы похоронным звоном
в стеклах кирок дребезжать.

А народ непокоренный,
подымаясь в полный рост,
головою непреклонной
достает до самых звезд!

1942—1960

СТАНЦИЯ «ВЫДУМКА»

1

Вы толковали
о звезде
в рассветной
нежной бледности,
а я знавал
звезду
в нужде,
в величье
крайней бедности.
Она могла б
с небес упасть
земли во мглу
и в тень ее,
упасть,
отдав себя во власть
земного
тяготения.
Но ей на помощь
небеса, —
ковром
дорога млечная...
И вот
пошла она,
боса,
до ужаса
беспечная!

И я,
живой свидетель в том,
стоял,
мирясь с потерею,
стоял,
дивясь
с открытым ртом
на высшую
материю.
Ведь, значит,
если кто зажег
такую
непохожую,
то свет ее
никто б не мог
затмить
ночей рогожею!

2

С тех пор
как рассказом
о сестрах
мне сердце задела,
доверчивым глазом
мне в душу
до дна доглядела,
как,
вызов бросая,
в трамвай,
что набит каблуками,
вошла ты,
босая,
как будто бы
шла облаками.
(Так крох
было мало,
так трудно
давалась учеба,

но лба
не сгибали
тебе
ни бездушье,
ни злоба.)
Ты вышла из дома
и в ужасе
кинулась в люди
под грохоты грома
осколочных бомб
и орудий.
Так сталь
из расплава
горячей рекой
вытекает,
но,
взяв свое право,
потом
и звенит и сверкает,
ложится упруго
и в шлюза
стальные ворота,
и в лезвие
плуга,
и в синий прыжок
самолета!

3

Когда,
подобная лучу,
ты станешь рядом
с тем,
кто тебе не по плечу
по дням и взглядам,
я ничего
не мыслю красть
из тех сокровищ,

какие ты
другим во власть
отдать готовишь.
Но даже
если бы они
в сто крат пригожей, —
не дай их,
боже сохрани,
руке прохожей.
Я удержусь
от всяких ласк,
как от порока...
Дорога в даль,
колеса в лязг —
и ты далеко!
Но если рокот
дождевой
на листьях мокрых,
знай:
это мой
сторожевой,
тревожный окрик.
А если
солнечным лучом
метнет над садом,
то это я
плечо с плечом
с тобою рядом!

4

Поезда нас разомчали
через степи и пески,
содрогаясь от печали,
надрываясь от тоски.

Только стоило усесться
в дальний поезд, в долгий путь,
как пошло хватать за сердце
и впиваться рамой в грудь.

Даже для великой страсти,
для классической любви,
все б растаяло в пространстве,
что в глазах еще рябит.

А ведь вы совсем ребенок,
вас бы в мамок тесный круг.
Что вам до стихов любовных,
до глухих сердечных мук?!

В этот миг глухим разрядом,
дикий взгляд воспламеня,
туча с грохотом и градом
обвалилась на меня!

5

Проезжаем станцию «Выдумка»,
всю заплывшую в зеркало луж.
Вы б сказали: «Давайте выйдем-ка
прямо в чащу — в орешник, в глушь».

Пусть от станции только название,
только взорванный бомбами дзот,
битый щебень, песок да развалины,
но орешник-то все-таки тот!

Здесь работы — края непочатые,
лишь бы руки да пристальный глаз!
Так давайте про то напечатаем,
может, выдумка эта — про нас?

6

Мне не надо длиннобровых,
не встающих при звезде,
злых, завистливых чертовок,
ждущих выгоды везде;

Очерствелых, безразличных,
не хотящих жить, как все,
в вихрях слов и дел тряпичных
мчащих белкой в колесе!

Мне ж мила, чтоб бровки — тенью,
рот не крашен, волос прост,
голос — сам стихотворенье,
глаз сиянье — отсвет звезд;

Мне мила такая цаца,
чтобы с нею не дремать —
в помощь к тонущим бросаться,
в скользь упавших подымать;

Чтоб ходила, глаз не жмуря,
не кривила горько губ,
даже если в сердце буря,
даже если ветер груб!

7

Я сердце вверял
деревьям,
я жаловался
кустам,
и буря
ревела ре́вмя,
за мною гонясь
по пятам;
и море
металось следом,
выхлестывая залив,
в ответ
моим мнимым бедам
парчу
по пескам расстелив;
и тучи
толпились скопом,

склубившись
над головой,
грозя мне
вторым потопом,
распоротой
синевой...
А все же
мне жаль разлуки,
когда,
чуть что-то шепча,
деревья
вздымали руки
сверх
моего плеча,
вершины
поднявши к высям,
указывали
в небосвод,
и целые тучи
писем
обрушивал
самолет!

8

О, если б был
такой бинокль,
чтоб
за пять тысяч верст
увидеть над собой
венок
кавказских
влажных звезд!
Ведь без бумаги,
без чернил
из света
и добра
тебя я,
нет,
не сочинил,

а взял
из-под ребра.
Так ты бездонно
далека,
так детски
хороша,
что над Кавказом
в облака
вплыла
моя душа.

9

У Блока также звезда была,
но не того созвездия:
она в туманах ночных плыла,
даря дурные предвестия.

И Маяковский о том тосковал —
зачем они зажигаются?
Зачем, повернувши небесный вал,
уходят куда полагается?!

Да все стихотворцы о том говорят,
но редко кто взглядом встретится...
А звезды горят себе и горят,
горят и горят, и светятся.

1959—1960

Самые мои стихи 1962

АЛМАЗЫ

Уголь приближается к алмазу
не одну, а много сотен лет;
так народом медленно, не сразу
выдается на-гора́ поэт.

Все же, как он в недрах вызревает?
Как там происходит этот рост?
Как в себя он под землей вбирает
молчаливое мерцанье звезд?

Химия, конечно, это знает:
как его природа испекла,
чтоб его резная грань сквозная
резала простую гладь стекла.

Скажешь, уголь? Нет, уже не уголь:
сжатый прессом тысячи веков,
он вместил и черный пламень юга,
и слепую искристость снегов.

Не бывать искусственным талантам,
стоящим дешевые гроши,
вровень с настоящим бриллиантом,
режущим простую гладь души.

1962

САДОВНИЦАМ ЗЕМЛИ

Нет на свете ничего прекрасней
женщины — садовницы земли;
солнце поднимается с утра с ней,
ведра звонко песню завели...

Вот она с лопатой и с мотыгой,
сея новой жизни семена,
над землей, как над раскрытой книгой,
с вечною заботой склонена.

Может быть, почетней быть ученым,
инженером, летчицей, врачом;
мне ж роднее с этой, с закопченным,
пропеченным полднями плечом!

Говорят, что Ева плод сорвала
с дерева познания добра и зла;
молния вокруг нее летала,
туча гневный ливень пролила.

А деревьям этого и надо,
грозовые не страшны враги;
женщина дождям и грозам рада —
разрыхлять приствольные круги;

Чтоб пошли вздыматься круче ветви,
чтоб зазеленел за садом сад,
чтоб завязывались все соцветья,
сорняки выпалывались с гряд.

То, что эти руки насадили,
матерински вызвали на свет,
выше Феокритовых идиллий,
ярче всех, кто раньше был воспет!

Потому — пока она со мною —
не страшусь я никакой беды:
вижу ясно — под ее ступнею
райские наметились следы.

1961

ЖЕНЩИНЕ В ЗЕЛЕНОМ

Ты моешь посуду,
ты чинишь белье,
какое ты чудо,
виденье мое!

Да нет, не виденье:
ты — жизнь наяву!
Себя я лишь тенью
твоей назову.

Где ты, там растенья
и росы блестят,
малиновок пенье
и солнечный взгляд;

Где ты, там цветы
и там нет пустоты:
там кисти сирени,
жасмина кусты.

Ты хочешь, чтоб всюду
земля расцветала,
зелеными листьями
лепетала;

И в царстве зеленом
сияешь плечом
под взглядом влюбленным —
под солнца лучом!

1961

АБСТРАКЦИЯ

Деревья обнажены,
цветы поувядали;
безжизненной тишины
полны осенние дали.

Так в разницу зим и лет,
лишенный дыхания листьев,
выглядывает скелет
искусства абстракционистов.

1961

ХЕМИНГУЭЙ

Не в зарослях тропических лесов,
где млеют джунгли, —
в глазах банкиров и больших дельцов
желтеют угли.

Еще ты не был с хищником в бою,
лишь жаждал встречи,
а им уже расчет на жизнь твою
давно намечен.

Не ты за тигром — за тобою тигр,
тебе неведом,
огромной кошкой, терпелив и тих,
крадется следом.

Не ты, а он тебя предусмотрел
мерцаньем углей,
чтобы ржавел стальной твой самострел
в болотах джунглей.

1961

ЗВЕРИНЕЦ ЯРОСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Лев был безмерно удивлен,
столкнувшись с укротительницей,
перед которой, вставши, он
старался в струнку вытянуться.

Поноску нес, как пес, за ней
под властью взгляда женского
и львиной долею своей
гордился и блаженствовал.

Бичом язвя ему бока,
так, что зубами взлясхивал,
она была то жестока,
то безраздельно ласкова.

А было иначе нельзя,
его ж природа дикая:
рванется, когти в плоть вонзя,
и прочь уйдет, мурлыкая!

Так защищалась и она
по-женскому, по-своему;
была судьба им стать дана
мучительства героями.

Зверинец яростных людей!
Пустыня раскаленная!
Читатель, в ужасе седей:
вот правда не салонная.

28 октября 1960 г.

СОН

Мне снилось: Хлебников пришел в Союз поэтов,
пророк, на торжище явившийся во храм...
Нагую истину самим собой поведав,
он был торжественно беспомощен и прям.

Вокруг него теснились мытари угрюмо,
но он, как облако, меж ними прошумел
о толстодушии былого толстосума...
А я помочь ему не смог и не сумел!

Я не отрекся, и петух не пел полу́ночь,
но сон прервался и вставать была пора...
А если мыслью и пылинки ты не сдунешь,
то как же ею с места сдвинется гора?

1956—1961

В КОНЦЕ КОНЦОВ

(На мотив Р. Бернса)

В конце концов все дело в том,
что мы — как все до нас — умрем...
Тим-там, тим-том!

Матрос пьет ром, больной пьет бром,
но каждый думает о том;
ведь вот ведь дело в чем!

Один умрет, построив дом,
другой — в чужом углу сыром...
Тим-тим, там-том, тим-том!

Один был прям, другой был хром,
красавец — тот, а этот — гном;
ведь вот ведь дело в чем!

Один имел прекрасный слог,
другой двух слов связать не мог,
в грамматике был плох.

Один умолк под общий плач,
другого доконал палач:
уж очень был горяч.

А любопытно, черт возьми,
что будет после нас с людьми,
что станется потом?

Какие платья будут шить,
кому в ладоши будут бить?..
Тим-там, тим-там, тим-том!

Открыть бы хоть один бы глаз,
взглянуть бы хоть единый раз:
что будет после нас?!

Но это знать — напрасный труд,
пустого любопытства зуд;
ведь вот ведь дело в чем!

Все семь всемирных мудрецов
не скажут, что в конце концов...
Тим-тим, тим-тим, тим-том!

1956—1961

ПРЕД ТОБОЙ

Мне б пред тобой
на колени пасть!
Мне б пред тобою
поклоны класть!
Но ведь такой
неразумен жест:
нету на свете
бессмертных божеств.
Мне пред тобой бы
дорогой лечь,
чтоб в беспредельную
даль увлечь, —
так бы вот
шла бы и шла бы,
все миновав
ухабы.
Мне бы в лесу
серым волком быть,
чтоб до луны
о тебе провыть, —
только ведь
ты не согласна
стать
царевной прекрасной!
Варишь обед
и чинишь белье,
в радость и в свет
украшаешь жилье,

пол натираешь,
чтоб звонко блестел.
Где уж царевнам
до этаких дел!
Ты не царевна,
и я не волк...
Но для тебя
в подмогу
лучших стихов моих
мягкий шелк
выстелю
на дорогу.

1961

СКАЖИ, С КЕМ ТЫ ЗНАКОМ?

С кем я знакомствую?
Со Стендалем,
с Пушкиным, с Гоголем, с Достоевским.
«Да, но ведь эти из дальней дали!
А на сегодня знакомиться есть с кем?
Что ж на сегодня?..»
Звенит мелочишка,
но не отметишь великих имен.
Может, еще подрастут мальчишки,
станут Мужами своих времен;
может, еще наберутся силы —
выдвинутся на века вперед,
чтобы им памятники постановили
не начальствующие, а народ!
Пушкин!
В поэтах на первом месте,
не постаревший и после конца;
нет безупречней и чище чести
неувядающего венца.
Бешеной царской собакой укушен,
лишь пред народом он шляпу снял;
так вот его и вознес Опекушин
на всенародной любви пьедестал.
Из современников был я дружен
с тем, кто и в жизни великим был...
И для него я был в чем-то нужен,
а его я — как солнце любил.

И теперь, меж другими сидя,
во всеобщий впадая тон,
на судьбу я в глухой обиде:
почему нет таких, как он?
Те, о которых вы только читали,
далью времени унесены, —
так же любили, страдали, мечтали, —
в нашей памяти живы они!
Не одни мы живем на свете,
и не клином сошелся свет.
Верю:
будет земля в расцвете,
знаю:
встанет живой поэт!

22 января 1962 г.

БУДНИ ВОЙНЫ

Это невероятно:
камни дорог в крови́,
в прачечных ржавые пятна,
а люди — туда и обратно,
туда и обратно,
как ничего не случилось,
как муравьи!

Это невыразимо:
взрывов в глазах столбы,
а люди — всё мимо и мимо,
мимо своей незримой,
неотвратимой
судьбы!

Тел неоплаканных груды,
дум недодуманных дни...
Люди не любят чуда:
горы пустой посуды,
суды да пересуды,
слухи да сплетни одни.

Так же стригут бородки,
так же влачат кули́,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
точно война — вдали́!..

Голову забинтовала
белым бинтом земля.
Скошенный рот подвала
хмуро зевает — мало
телу уюта,
мало душам тепла суля.

Не рассказать про геройство
серым, сухим языком!

Это — отчаянных свойство!..
В землю вгрызись и заройся
вместе с пехотным полком, —
вот тогда, может быть, тоже
будешь понятье иметь:
вместо наигранной дрожи —
злую чувствительность кожи,
глотки простуженной медь...

Может, и сможешь похоже
это геройство воспеть.

1941

МОСКВА — КАМА

1

Отворачиваясь от Москвы,
огибая мели и мыски́,
пароход «Григорий Пирогов»
от родных уходит берегов...

Южная гавань в зарю оплавлена.
Вот и Москва позади оставлена.
Кружатся склады, трубы, мосты,
но и от труб уже след простыл.
Мирно зеленеющий осот
водяную тишь да гладь сосет,
хоть еще на подмосковных шлюзах
люди помнят о гремучих грузах;
и ведется разговор с опаской:
как тряхнуло давеча фугаской.
Глаз нет-нет да и пошарит по́ небу:
не видать ли на небе чего-нибудь?
Но прошло еще часов с пяток,
закипает в кубе кипяток,
и разговоры более мирные,
и бутерброды более жирные.
Расскажут раз по пятьдесят
о том, как пойман диверсант,
о том, что, может, он вблизи!
А где? Поди, сообрази!

Но, уходя на восток от Перервы,
ослабевают гудящие нервы.
Низкобережна и широка,
их принимает в объятья Ока.
На пристанях, проходимых мимо,
человечья натура зрима.
Балансируя головоломно,
прет взбудораженная Коломна.
Хошь — оставайся, хошь — поезжай:
прет, на дыбы подымаясь, Рязань.
Люди отталкивают друг друга,
густо теснясь, выпирают дух.
В детский плач и женскую ругань
грузно въезжает зеленый сундук.
Кто-то с диваном, кто-то со шкафом:
не пропадать же доброму прахом!
Люди из трюма смотрят угрюмо,
холодом веет жестокая дума.
Глаз примеряет, и ус усмехается,
будто от них пароход колыхается.

Обитатели верхних кают
грозно стоят за фанерный уют.
С верхней палубы мамы и папы
спорят, придерживая шляпы;
о специальностях тараторя,
отбивают места в коридоре.
Пап из Внешторга и мам в Лакокраске
только затем и щадили фугаски,
чтоб, надуваясь от спеси и злобы,
криком они разрывали утробы.
«Эллочка с коклюшем! Симочка с корью!»
козыряют ребячьей хворью;
и далеко еще на заливах
эхо их голосов визгливых.
Это люди? — Это орда,
заливающая города.
Сколько нужно еще столетий,
чтобы дружба стала на свете?
Куда они едут? Вернее, откуда?
Добра не спасают, сбегая от худа!

Оттуда, где пухнут фугасные взрывы,
где сивых пожаров багровые гривы;
где ночь, точно грифельная доска,
исчерченная прожекторным мелом;
где сердце захватывает тоска
и останавливает онемелым.

За пароходом звенела волна.
За пароходом темнела война.

2

Сколько шума, сколько гама
по тебе несется, Кама!
Сколько яростного вздора
искривленных в спорах ртов,
скорлупы яичной сора
сколько скинуто с бортов!
Позабыв родной уют,
растеряв родных и близких,
в воду беженцы плюют
в детских выкриках и визгах.
Шевелит волна седая
окипающей каймой,
и плывут они, рыдая,
над раскрытою сумой.

Как же быть и что тут выдумать,
как утешить и развлечь
этих видимо-невидимо
отягченных спин и плеч?
Как их вновь развеселить?
В чьих домах их расселить?
Эх, споем-ка понемногу,
но из жизни, не из книг;
завернув «собачью ногу»,
позабудемся на миг.

«Эх, Кама-панорама,
не навеки нам дружить!

Сколько раз, ответь нам прямо,
поворачивать-кружить?
Эх, Кама, упряма,
четыре узла!
Куда ты нас, мама,
скажи, завезла?»

Поднялась заря над Камой,
заиграли берега:
из парчи камчатой самой
понападали снега.
Как пойдет по Каме сало —
уплывай, пока не стала.
Уезжай, пока не поздно,
отправляйся без обид,
пока речка не морозна,
пока кровь не ознобит.

Так живут они покамест,
к камским берегам прикамясь.
Колыхаясь у борта,
волны плещут возле рта.
Но проходят жизни сроки,
не оставив и следа:
все укоры и упреки
замолкают навсегда.
Так и всех умчат отсюда,
смоют с берега дожди:
вековечная простуда
человеческой вражды.

Одно в мозгу:
«Домой, в Москву!»

Август — ноябрь 1941 г.

ПИСЬМА К ЖЕНЕ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ПОСЛАНЫ

1

В первую
прожитую войну
ты сохранил от смертей
жену.
Сколько вам вместе
грозило их:
пуля, холера,
чума и тиф!

Ты рядового
шинель сносил,
помощи
ни у кого не просил;
в кипени
воинских волн гребя,
ты лишь рассчитывал
на себя...

Правда, кругом —
лишь в вагон застучи —
сразу б откликнулись
бородачи:
тридцать четвертый
стрелковый
не продавал за целковый!

Что же теперь-то,
как стал седей,
ты понадеялся
на людей?
Сам себя отдал
на ихний суд,
веря, что выручат,
что спасут,
всею штыков щетиной
вставши,
как друг единый!

Тридцать четвертого
нет полка,
поступь его
замерла, гулкà,
взмет его рук походный,
счет номеров повзводный...

Был у тебя
закадычный друг —
ты его поразменял на двух;
четверо сделалось
из двоих;
тысячи стали
друзей твоих.

Только куда ж они
делись все?
Так и сошли,
как туман по росе,
та́к и развеялись
по фронтам,
неуследимы
ни здесь, ни там...

2

Горькой обидой
меня не клейми...
Земля из-под ног
уплывала, скользя.

Я пробивался к тебе,
но — пойми,
я прорывался к тебе,
но — нельзя!

Я столько и так
про тебя писал,
что, если были бы небеса,
они бы услышали
мой призыв,
они бы сошли к нам
на низы!..
Но нет у небес
ни ушей, ни глаз,
не видят они
и не слышат нас.

3

Те же на небе детали,
тот же воздух,
тот же зной,
так же ласточки летали,
только нет
тебя со мной.

Четверть века
жили вместе,
вместе, мнили, умирать,
а теперь
я даже вести
не могу тебе подать.

Нет, не бомбы гром
мне страшен,
он убьет — ударит враз, —
равнодушье серых пашен,
безразличье чуждых глаз.

Раздуваемая вечно,
как пустой кузнечный мех,
беспощадно, бессердечно
ссылка вечная на всех.

4

Мне никогда
себе не простить:
как я смог ее отпустить!
Как я смел доверить другим
скрыть ее в этот жар,
в этот дым!
Как мне не было
слать ее жаль
в немилосердную
эту даль?!

Думал: ведь стрелочники-то
свои?
Почвы под рельсом
родной слои?
Где-то ведь есть
впереди водоем,
где мы напьемся
с нею вдвоем?!

Нет водоема —
земля суха.
О, долети ж до нее, строка
слов моих,
слез моих,
души моей,
жар ее губ охлади,
обвей!

Может быть, можно
еще вернуть,
можно, может быть,
сохранить?
Ведь не до дна ж
докричалась грудь,
не до конца
натянулась нить?!

Нет! Ничего не возвратишь.
Нравоучительный голос
сух.

Стих перед ним,
как речной камыш,
к шелесту нашему
слух их глух.

Не обвиняй же меня,
жена;
сердце мое
смертельно скорбит:
душу, как кожу,
эта война
кровью запекшеюся
дубит.

5

Через ветер, через вьюгу,
через сумрак ледяной
мы бросаемся друг к другу:
«Где ты?
Здесь ли ты со мной?»

Проверять души неложность,
крепость дружеской руки —
это тоже наша должность
всякой догме вопреки.

Не гнездо свое куличье
возвышаю я, хваля, —
человечности обличье
завтра взалчет
вся земля.

Потому всегда, повсюду
на поверхности земной,
как во сне, метаться буду:
«Где ты?
Здесь ли ты со мной?»

1943

ГОРОДОК НА КАМЕ

1

...Спасибо тебе,
городок на Каме —
глубокий,
надежный советский тыл, —
что с нашею прозою
и стихами
ты нас не обидел
и приютил.

Остаток
забытого царства Булгарского,
без имени кличущий Каму —
«Река»,
ты в воду гляделся
темно и неласково,
на то,
как проносятся мимо века.

Я помню,
как ты из-за мыса выступил,
впервые пред нами
открывшись вдали,
весь противореча названию
Чистополь, —
по горло в грязи
и по пояс в пыли.

Ты встретил нас
шипом своих сковородок,
солидным покачиваньем плотов,
на всех перекрестках,
на всех поворотах
учить нас
науке терпенья готов.

И первым ребячьим
забытым уроком
гусиных семейств
и лохматых дворняг —
был вывод,
что смысл
не в житье одиноком, —
что жизнь
заключается в сильных корнях;

Что грязи и пыли
не надо пугаться;
что почва
здесь так глубока и жирна, —
что в самой природе ее —
богатство,
обилье,
и пышность,
и сила зерна!

Здесь что ни посадишь —
растет и плодится,
чуть в землю —
обратно земля отдает;
здесь почва
сама заставляет трудиться
и чуть ли сама за себя
не поет!

На окнах
такие пылают герани,
такие наплывы
соцветий густых,

что, кажется, слышишь
желаний сгоранье
и новое возникновение их.

И здесь —
это вовсе не вычурный вымысел —
горит наше будущее на примусе...

Но если
в природе,
в растительном чуде,
здесь каждый обласкан
и стебель и ствол,
то кажется —
в хмуром,
натруженном люде
еще ни единый росток
не процвел.

2

Слушай, друг,
оглянись вокруг,
присмотрись вкруг себя
попристальней —
к лицам толп
вокзалов и пристаней...

Видишь:
харкая и матерясь,
по тротуарам мечется
плохо одетое,
скверно обутое
мужественное человечество!

Оно,
сделавшее все эти вещи:
дома, сапоги, бутылки,
солдат, письмоносцев, старух, —

не хочет своей судьбы
выпускать из собственных рук;

Оно мечется, мучится, мочится,
мычит от горя и боли,
желая жить
по собственной воле...

Обвинить ли его за это?!
Нет, не в этом судьба поэта!
Поэт
должен быть со своим народом,
он должен быть близок
к его невзгодам.

3

Какая рань,
какая муть,
и грязь, и рвань,
и тьма, и жуть!
Остатки каких-то племен обветшалых,
кочующие на пристанях и вокзалах.

Какое ошметье,
какое отребье,
уж не разговор,
а ворчанье утробье,
и водочный дух,
и свист воровской,
и брань молодух —
вот вид городской;
и бельма ворочающий гадальщик,
вещающий
о временах преходящих...

Как жадно внимают
гаданью такому:
«Гадаю за деньги,
гадаю за хлеб!»

Как будто бы
более верят слепому
именно потому,
что он слеп.

И ночи тьма
стоит, тесна;
сводя с ума,
шумит весна.

И вдруг
эта тьма прорезается песней,
которая так без ошибки чиста,
как будто вся правда народа
в родне с ней,
все,
чем отдаленные
дышат места.

По древнему городу
поздней порою,
как будто обнявшись за плечи,
идут
каких-то безвестных волшебников
трое
и сильную,
точную песню ведут!

И веришь,
что это
поспорит с дрянною,
угрюмой действительностью
дневною.
И это
не горькая корка слепого,
и это
не голый распухший живот,
а это
в душе гражданина любого
под сердцем невысказанное живет!

И город
на прочные гвозди подкован,
и городу
сильная правда ясна,
и нету на свете
народа такого,
которого б так
волновала весна!

Чистополь
1942

ДОЛОЙ ВОЙНУ!

Все радиоточки,
все волны земные,
настройтесь
на общие позывные!

Два слова везде
на одну волну,
повсюду гремите:
«Долой войну!»

Берлинцы и лондонцы,
слушайте, слушайте:
чем всечеловечий
пожар вы потушите?

В Париже и в Льеже
в разгаре работы
все те же, все те же
о жизни заботы,

Чтоб миру всесветной
не стать Хиросимой,
неповторимой
и неугасимой!

Вы, жители Кентукки,
Массачусетса,
вы слышали это,
вы поняли это?

Идите на площади
и на базары,
спешите на пристани
и на вокзалы!

Все мысли, все силы
сплотите, народы,
чтоб всех не скосила
волна водорода!

Ученые Лейпцига,
Вены и Бонна,
мудрейшины Ке́мбриджа
и Сорбонны!

Возглавьте народов
великую волю,
больше не время
мирволить де Голлю!

Развейте всю ложь,
что газетами наврана
в угоду приспешникам
Аденауэра!

Ведь ни бомбоубежища,
ни катакомбы
не предохранят
от сверхсупербомбы!

Напрасно, вояки,
вы мира не цените,
толкая под локоть
правительство Кеннеди!

Пусть мирная жизнь
не прервется под солнцем,
чтоб не был весь воздух
отравленным стронцием!

Чтоб вся земля
не покрылась золой —
войну
долой!
Долой!!
Долой!!!

Декабрь 1961 г.

«ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ПУТЬ» [1]

Америка! Бред человечества —
грозящие гибелью США!
За тысячу лет не излечится
несытая ваша душа.

Приплывшие на «Мей Флауэр»
разведчики хищных стай
горящие взоры направили
на дико цветущий край.

Возникла Новая Англия,
от старых отбыв берегов,
безжалостная и наглая,
во встречных видя врагов.

Задолго до танков и тракторов,
алчностью распалена,
сметала и в землю втаптывала
индейские племена.

Дороги себе расчистила —
во внутрь континента войти.

---

[1] «Великий белый путь» — название части Бродвея, главной улицы Нью-Йорка.

Стихотворение это написано под впечатлением замечательной Второй Гаванской декларации. Ее точный, образный язык, ее краткий, но глубокий исторический обзор событий, ее убедительность не могут не заставить отозваться искренним откликом сердца на этот большой человеческий документ. *(Прим. автора.)*

И выстрелы, выстрелы, выстрелы
во всех, кто стоит на пути.

Что копья и стрелы индейские
пред посвистом метких пуль!
Кровавые игры, не детские
разыгрывал здесь Джон Буль.

Распалось немало времени
(как пепел сигар стряхнуть) —
сквозь рынки невольничьей темени
лег «Белый великий путь».

Сэры преобразились в мистеров;
цилиндры — на котелки...
И выстрелы, выстрелы, выстрелы
во всех, кто дельцам не с руки.

Здесь власть королевская лжива,
но к небу вознесена.
Она — королева Нажива,
под властью ее — страна!

Ей всюду почет до верхушки,
в ней с Англией старой родство;
ее дальнобойные пушки
хранят ее дней торжество.

И бум деловой истерики
все прочее сводит на нет!
И звездное знамя Америки
приветствует Старый Свет.

К ней люди разной породы
спешат, позабыв покой, —
на выросший призрак свободы,
манящий стальной рукой.

Но вновь ниспадали годы,
и стали вставать с колен
униженные народы,
стремясь разорвать свой плен.

И стала тесниться страхом
стальная Америки грудь,
что может рассыпаться прахом
«Великий белый путь».

Америка капитала,
всемирная биржа рабов,
ты к людям не чувства питала,
а счет от продажи гробов.

Рабы колоний восстали,
восстали на белых господ,
на мир из стекла и стали —
всесветной наживы оплот.

На волю миллиардера,
на толщу банковских груд
восстала великая вера
в рабочий всемирный труд.

И вера становится делом,
а в деле рабочий не слаб,
здесь робкий становится смелым,
свободным становится раб!

12 февраля 1962 г.

Стихи из послевоенных книг 1945–1963

У ЛЕНИНСКОГО МАВЗОЛЕЯ

Здесь не обычная могила,
не прах земной, —
бессмертия почиет сила
под той стеной.

Не диорит, не красный мрамор,
не камень, нет! —
здесь мир благоговейно замер
всей мощью недр.

Людская лента вьется, вьется,
как вязь венка.
Вокруг — на страже Веководца
стоят века.

На краткое одно мгновенье
сюда войди,
и унесешь ты вдохновенье
навек в груди.

И, вышедши оттуда, взгляд твой
останови
там, где народ поклялся клятвой
большой любви.

Любви к нему, к его заветам —
всей правдой их, —
на месте самом светлом этом
надежд людских.

И, возвратясь отсюда к дому,
к своим делам,
мир станешь зорче, по-другому
ты видеть сам.

Как будто горизонтом шире
раскинут свет,
и чувствам есть опора в мире
и дум ответ.

И, как бы ни был озабочен
тревогой дух, —
ты слышал, как сказал рабочий
соседу вслух:

«Вот если бы ему взглянуть бы
на этот свет,
на нашу жизнь, на наши судьбы,
на дни побед!

Он в сердце вырастил, лелея,
времен росток...»
Струился, строг, у мавзолея
людской поток.

1945

ВЕСЕННЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

1

Как звездочет
наблюдает планету
за миллионы миль, —
я изучаю действительность эту,
в вечность плывущую быль.

И открываются,
точно с подмостков,
будущего этажи;
сколько детей
превратилось в подростков,
юноши стали — мужи!

Я, окруженный
на острове звуков
морем немых времен,
слушаю говор выросших внуков,
лепет их юных жен.

И воскресает
передо мною
запах весенних садов, —
вечная юность
за пеленою
тучами сплывших годов.

2

Слабо и сладко
пахнут мимозы;
зыбко и зябко
бегут облака...
Все, что сдавили
и сжали морозы,
освобождает
солнца рука.

В гущу борьбы,
на весенней арене,
тут еще впутался
ветер-пострел
в это всеобщее
непостаренье, —
кто там поверит,
что мир постарел?!

Скоро
набухнувших почек березы
выстрелит
радостная шрапнель!..
Гулко и влажно
кричат паровозы, —
это
весну выкликает апрель!

3

Весеннее человечество!
В подъем подымайся скорей,
очищенное от нечисти
угрюмых концлагерей;
от сумрачного палачества,
из рук у злобы тупой,
отбитое навек и начисто, —
раскройся душой и пой.

Пой песню окрепнувшей юности
на высветленном пути,
куда тебе силу
свою нести, —
как листьями шелести.
Пой песню победного племени
о славе старых знамен,
о светом пронзенной
темени
назад отступивших времен.
Чтоб в рощах
дороги асфальтовые
кружились
из края в край,
чтоб, дрожью весенней
прохватывая,
в зрачках отражался
май!

1941—1946

НОВЫЙ МАЙ

Я сегодня в синем мире
встал, не узнавая дома,
словно что-то стало шире,
что-то ново, незнакомо.

Точно всюду стало чище,
стало радостней для глаза;
глянул — в окна бьют лучища,
синь сияет без отказа, —

То ли оттого, что вскрылись
реки ото льдов покрова;
оттого ли, что у крылец
лик земли открылся снова.

Точно сильный, добрый кто-то
в полный рост у каждой хаты;
это май стучит в ворота,
май, надеждами богатый.

Все, кто рад его приходу, —
сердцем чутки, кожей грубы, —
сквозь огонь прошли, сквозь воду
и сквозь медные трубы!

Их, таких, не запугаешь
злой реакцией цепною,
их, кто властвует лугами,
ширью вольною степною.

Пламя весен не затушишь
ледяных сердец лавиной,
хриплым голосом петушьим —
звонкой песни соловьиной...

Маю есть везде работа,
май встает в советском мире,
он стучит во все ворота —
открывайтесь, дескать, шире!

1946

ДЕТИ НА ТАНКЕ

Вот что я видел
Первого мая:
улицей Горького
на парад,
толстые дула
к небу вздымая,
тяжелые танки
двигались в ряд.

Вдруг один из них,
выйдя из строя,
остановился,
затормозив.
Огнедышащею горою
врос в мостовую
стальной массив.

В майском волненье,
средь флагов и звуков,
стал волнорезом
людской реки...
Повылезали
танкисты из люков —
широкогрудые здоровяки.

Мать к одному
поднимает сынишку:
«Все, что имею, мол,
все, что храню!»

Тот подхватил парнишку
под мышки
и бережно
опустил на броню.

И уж не знаю,
как это сталось, —
может быть, чудо
весенней поры, —
но через пять минут
оказалась
танка площадка
полна детворы.

Лезли,
хватались за скобы, за дужки,
в люки заглядывали,
не дыша:
сроду такие большие игрушки
сердца не радовали
малыша!

Сталью башен
стал танк не страшен,
не таил боевых угроз, —
так глазенками их
разукрашен,
так их щебетом
весь оброс!

Может быть, это
был непорядок,
может, вопрос я решаю
сплеча,
но для того
и гремят на парадах
танки,
гусеницами скрежеща,

Чтобы повсюду —
да будет так,

пусть происходит
везде на свете, —
чтобы взбирались,
смеясь,
на танк
этим же танком
спасенные дети!

1946

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ

Русские
теперь не те,
что до семнадцатого года;
в силе, в мощи, в красоте
новая у нас природа.
Там —
кидались разрушать
камни сумрачного зданья;
здесь —
привыкли разрешать
бурный пафос созиданья.
Наш советский
славный строй
эту вырастил природу;
за нее —
народ горой,
за нее —
в огонь и в воду!
В шири рек,
и в шуме рощ,
в гребнях гор,
что облак выше,
государственную мощь
ощущаем мы и слышим.
Но еще она видней
в людях нынешней отметки,
сквозь грозу
военных дней

вставших
в новой пятилетке.
Воля их могучих рук
новых сил валы
взметнула;
слышишь деятельный звук
строек грохота и гула.
Это вышла
вся страна
из походов, гроз, сражений,
в их огне закалена, —
к старту новых достижений.
Коммунисты все мы сплошь,
твердо чувствуем и знаем:
не поклонимся
за грош,
не пойдем
батрачить в наем.
Гордо головы неся,
мы судьбой
умеем править;
нас нельзя согнуть,
нельзя
силой — ничего заставить.
Наш советский
крепкий строй
славится во всей вселенной;
за него народ —
горой,
неуклонно,
неизменно!

1946

СОРОК СЕДЬМОЙ

С Новым годом, с новым счастьем!
Что ж несет нам новый год?
Повторяя поздравленья,
отдадим себе отчет.

Наш советский Новый год —
великаний шаг вперед,
нашей новой пятилетки
убыстренный полный ход.

Наш советский Новый год —
это выросший завод,
вновь возникшая плотина
над днепровской ширью вод.

Нет таких, кто б с безучастьем
слушал стройки добрый гул...
С Новым годом, с новым счастьем
всех, кто с ней вперед шагнул!

Наш советский Новый год —
новый выведенный свод,
жизнь пустыни орошенной,
ширь осушенных болот.

Наш советский Новый год —
новый выращенный плод,
в медь и в уголь превращенный,
в соль и в сахар — труд и пот.

Снег сверкает на лопатах,
бродит в бочках бодрый хмель...
С Новым годом на Карпатах,
с новым счастьем тех земель!

И туман стеной седою
не закроет взор живой:
над Курильскою грядою
наш отряд сторожевой.

По краям по всем советским
за озера и моря,
по лесам и перелескам,
по цветистым занавескам,
по артелям всем ловецким,
все трудом животворя, —
он идет страной обширной
снежной яркою зимой,
светит он звездою мирной —
Новый год сорок седьмой!

1946

МОЛОДАЯ МОСКВА

Отдав Москве-старушке честь,
той,
что веков впадает в дрему, —
поедем утром,
часов в шесть,
к Тушинскому аэродрому.

Сюда
широкое шоссе
гостеприимным жестом
манит;
и здесь она
во всей красе
тебе по-новому предстанет.

Здесь сила
новой красоты,
могучей, яркой, четкой, веской;
здесь обнаружены черты
московской юности
советской!

Она могуча и стройна
здесь по-особенному
явно,
как весь народ,
как вся страна —
своеобычна,
своенравна.

Здесь видим въявь
размах и взлет —
сооружений мощных своды;
здесь силу с силой
волжских вод
московские
свивают воды.

Здесь широко
открыла даль
времен грядущие просторы;
здесь новый стиль —
стекло и сталь
к себе
приманивают взоры.

Москва здесь
мощью молодой
откроет и захлопнет шлюзы,
легко поднявши
на ладонь
любые тяжести и грузы.

Здесь горизонта
чистый край
щитом
от вражеской угрозы;
взмывают в небо —
то и знай —
стальные легкие стрекозы.

Они летят
во все концы
своей страны необозримой,
ее гонцы, ее птенцы,
неся привет
Москвы любимой.

Здесь все,
что раньше было сном,
мечтой, виденьем, сказкой древней,

а нынче стало —
нашим днем,
свершеньем,
былью повседневной.

Так грянем здравицу
Москве,
ее трудам,
ее здоровью,
чтоб, вечно чист,
ее рассвет
сиял под соболиной бровью!

1947

ВСЕМУ НАРОДУ

Книги для всего народа,
вещи на размер страны —
вровень звездам небосвода,
в разворот морской волны.

И стихи писать такие,
чтобы — взлет, а не шажки,
чтоб сказали: «Вот стихия!»
А не просто: «Вот стишки!»

Чтобы пелись и читались,
признавались за родных,
чтобы ими все питались,
а не пятились от них;

Чтобы ими все гордились,
чтобы — глаз не отвести,
чтобы сами затвердились,
стали в памяти цвести.

Книги для всего народа,
вещи на размер страны —
по масштабу небосвода, —
вот что делать мы должны.

И стихи должны такие
быть, чтоб — взлет, а не шажки,
чтоб сказали: «Вот стихия!»
А не просто: «Вот стишки!»

1947

НОВОГОДЬЕ

Когда я оглядываюсь
на недавние годы,
масштаб времен
примеряя на глаз, —
я вижу:
раздвинулись древние своды,
и новой истории
начат рассказ!
Неизмеримы
страны успехи,
жар рассвета ее
заревой;
пятилеток
вздымаются вехи
по дороге времен
столбовой...
Партии око
видит далеко,
безошибочен
точный расчет:
скажет,
и — ширь голубого потока
по пустыни пескам
течет;
городов
подымаются крыши
там,
где век шумела тайга;

поднимаются
выше и выше
самолеты,
мечты,
стога...
Лозунг партии
явен и ясен:
раз пошли —
не отстань,
не стой!
Каждый
в сердце своем
согласен, —
весь в порыве
советский строй!
Над страною своей
большою,
над бескрайною
ширью всей
я лечу,
понимаешь,
душою,
как весною
косяк гусей.
Всё в движенье
и всё в стремленье,
всё в напоре —
едином —
вперед!
Нет нигде ни тоски,
ни лени:
всюду
наша сила берет!
Всюду
зорь неоглядных вспышки, —
стал считать
и не сосчитал:
от Баку
зашагали вышки,
из Кузбасса
пошел металл;

медным морем
зерно струится,
урожаем
шумит руда;
звездным роем
пчела роится,
облаками
плывут стада;
лесорубов
кружатся пилы,
паровозы
взрывают тьму!..
Время новое
наступило, —
все ответом
на зов ему...
Нет, не те мы,
что раньше были,
не страшна нам
теперь беда;
мы
в гранит свое царство врубили —
царство мужества
и труда!

1947

КРЕМЛЕВСКОЕ УТРО

Свежи, румяны, подтянуты,
широкогрудо дыша,
утром кремлевским курсанты
звонкий печатают шаг!

Посланы дальними селами
славную службу нести, —
утра веселое полымя
путь им спешит размести.

Шаг миллионный печатая
в камни твердынь вековых,
сила идет непочатая, —
не остановите их!

Видно, подошва-то плотная,
сделана не напоказ:
значит, работа добротная,
слышите — грохают враз!

Это — Советская Армия,
друг твой, помощник и брат,
сильная, юная самая,
стройный, отборный отряд.

Небо, и воздух, и улица,
елок отлив голубой
смотрят — не налюбуются
этой завидной судьбой.

Даже Ивана Великого
шапка горит горячей:
чует седая реликвия
шаг молодых москвичей.

Даже царь-пушка уставилась,
рот изумленно открыв, —
видно, и этой понравилось:
шага ритмичен отрыв.

Эхо расплесканным клекотом
плещет о стены Кремля,
ровным, размеренным рокотом
дышит под ними земля...

Свежи, румяны, подтянуты.
широкогрудо дыша,
утром кремлевским курсанты
четкий печатают шаг!

1948

ЮНОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Сама лишь недавно со школьной
сосновой свежей скамьи,
взлетевшая птицей вольной
из дружной юной семьи.

Сама лишь в начале повести,
на первом подъеме пути,
а нужно ребят — по совести,
по верной дороге вести.

Не только то, что затвержено,
заучено в букваре, —
все сердце самоотверженно
ей нужно отдать детворе.

Не только стенами классными
ее ограничен мир, —
над взорами детскими ясными
она отец-командир.

Как чисто их выражение,
как нежен волос их шелк!
Как сделать, чтоб без поражения
шел в жизнь ее юный полк?!

Сама ведь недавняя школьница,
а вот уже перед ней
колышется всходом вольница
ребячьих шумливых дней.

Она им на все ответчица,
наставница новых людей,
чтоб в жизни им обеспечиться
оружием прочным идей.

Как солнце сверкает раннее
в мильонах морозных призм,
да будет их жизнь сверканием
за правду,
за коммунизм!

1948

ВЫСТРЕЛ С «АВРОРЫ»

Он видится нами,
как вспышка рассвета,
он помнится нами
на фоне тех лет,
как
к небу взвивающаяся ракета,
с которой
и начался
полный рассвет...
Тот выстрел,
который тогда раздался,
провозвестил
сквозь времени бег,
что новый строй
на земле рождался
и новый
в мир
пришел человек
И в мире
светлей и радостней стало,
и люди воскликнули:
«Здóрово!» —
когда над Невою
прогрохотала
шестидюймовка
авророва.
«Авророй»
у древних звалась заря;

и вот корабль
с таким же названьем
стал
молодой зарей Октября
на утре
нашего существованья.
И каждый год,
когда осень срывает
листки
с деревьев
и с календаря,
сияя в памяти,
возникает —
«Аврора» —
нашего утра заря!

1948

СУДЬЯ МЕДИНА

В Америке
живет судья Медина, —
мир не видал
тупее господина!
Все,
что на взгляд
не нравится ему,
готов он тотчас
засадить в тюрьму.
А что ж
его не ублажает взоры?
Вы скажете:
лжецы,
убийцы,
воры?!
Ничуть, ничуть!
Их
он готов простить,
их
по домам готов он отпустить.
Он лишь тогда взъяряется,
неистов,
когда на суд
приводят коммунистов.
Вот тут-то он впадает
в буйный раж:
кусает ногти он,
ломает карандаш.

«Молчать, — кричит, — молчать!
Мы знаем мысли красных,
американским господам
опасных!»
Однажды,
утомясь от долгих дел,
судья Медина,
задремав,
сидел.
Вдруг видит:
входят двое подсудимых,
до сей поры
к суду не приводимых.
«Как ваше имя?» —
«Джордж Вашингтон».
«А ваше?» —
«В жизни звался я Линкольном».
«У вас
весьма непринужденный тон,
вы что ж,
принадлежите к недовольным?»
«Да. Недовольны оба.
Он и я, —
что конституцию
попрали вы, судья!»
«Линкольн ли,
Вашингтон —
мне все едино.
Я сам себе закон! —
орет судья Медина. —
На конституцию
все ссылки ваши прочь,
здесь конституция
не сможет вам помочь!
Молчать!
Не возражать!
Иметь в виду,
что мы
заткнуть сумеем
здесь вам глотку,

и за
    неуважение к суду, —
уже! —
        я вас сажаю за решетку!»

Однако
        в чем собака
                здесь зарыта?
Да не зарыта!
                Лает с Уолл-стрита!

1949

ПЕСНЯ О ПОЛЕ РОБСОНЕ

Браво,
Робсон,
славный певец,
голос —
грозы раскат!
Правды и мира
честный боец,
тебе
рукоплещет Москва.
Песня твоя
на московской волне
плывет
далеко-далеко;
в нашей
свободной
Советской стране
ей хорошо
и легко.
Голос твой
взволновал меня:
к людям
простая любовь.
Словно
«Дубинушки» русской
родня —
песня
черных рабов...

Тенью домов
Нью-Йорк вознесен,
отчаянье
у сердец...
Песню свою
запевает он,
неукротимый
певец:
«Эй, не сдаваться,
не унывать,
дружно,
плечом к плечу, —
не давать
войну раздувать
гангстеру-богачу!»
Песня его
высока-высока,
как
океанский вал,
вскинется
гребнем
до чердака,
хлынет
волной
в подвал.
Мчится она
в кругосветный полет,
и незнаком ей
страх;
песню,
которую Робсон поет,
слышат
на всех языках.
Поднял
широкую песню свою
он
из народных недр;
пел ее
астуриец в бою
и на плантации —
негр:

«Эй, не сдаваться,
не унывать,
дружно,
плечом к плечу, —
мы не позволим
войну раздувать
гангстеру-богачу!»

1949

СТИХИ О СУХУМИ

Моря в рассыпчатом шуме,
в соке созревших плодов
вечнозеленый Сухуми
слаще иных городов.

Скрытому горною складкой,
зелень ему придала
сочность созрелости сладкой —
персик, хурма, шептала.

Улицы в горы глядятся,
сизая мгла разлита,
тучи на склоны садятся —
море меняет цвета.

Все для дыханья и глаза...
Свернутый рогом башлык,
легкая поступь абхаза,
стройной мингрелянки лик.

Запах магнолий так плотен,
розы так влажно цветут —
сотням бы ярких полотен
быть нарисованным тут!

Где вы, художники, где вы?
Где вашей ярости рать?
Кисти обмакивать в небо,
зелень со склонов снимать!

Здесь бы внимательной думе
выбрать сюжет для трудов...
Так по душе мне Сухуми —
город цветов и плодов!

1950

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ В СУХУМИ

Четвертые сутки уже
продолжается дождь, дождь...
За серою сеткой
не видно ни моря, ни мыса,
на горные дали
навален туман сплошь,
пронизана каплями
мощная тень кипариса.

Вот так начинался, должно быть,
всемирный потоп,
попрятались люди и звери
сушиться в каюты,
по берегу капли тяжелые
шлеп, шлеп...
Но это ведь — майский,
который дороже валюты!

Пускай бы он землю
до самых глубин оросил!
Еще над колхозами
небо раскинется синим,
где чай и табак
дополна набираются сил,
где каждая капля —
становится апельсином.

1950

МОРЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Море нынче голубое,
море вовсе без волны;
в это море без прибоя
были горы влюблены.

Над горами встав, хохлаты,
облака бросались в лёт —
в море, полное прохлады,
в море мира без забот.

1950

МИР

Кому сегодня светит слово *Мир?*
Не господам из биржевых деляг,
купающимся, словно в масле сыр,
в чудовищно раздутых прибылях,
кто, обещав, — сейчас же и соврет,
кто договор подпишет и — порвет.
Нет! Слово это дорого не им,
а честным людям, верным и простым;
их подписи — народов всей земли —
все страны кругом дружбы обвели;
и дружбы той не разорвать кольцо
предательством двурушников-дельцов.

Да разве понимает слово *Мир*
напяливший разбойничий мундир,
присвоивший военные чины
капиталист, желающий войны?
Война — его кормилица и мать,
в войне он толк умеет понимать,
войной он только дышит и живет,
война ему надежду подает —
отсрочку: жить, дышать, существовать,
в зверином страхе жечь и убивать
всех тех, кто перед ним не гнет спины,
кто против поджигателей войны!

И разве может оценить банкир
величие значенья слова *Мир?*
Захочет разве жирный биржевик
принять в расчет желания живых?

Ему приносит выгоды война:
валюту, власть, владенья, ордена;
он хочет всем на свете обладать,
пусть остальные будут голодать,
ему — плевать; лишь был бы сам он сыт,
лишь на его хватило б аппетит;
он закупить желал бы шар земной,
себе не представляя жизнь иной;
он, в страхе перед собственным концом,
точащий ядовитую слюну,
залил бы рты расплавленным свинцом,
гремящие: «Долой! Долой войну!!»

А их все больше, больше, больше их,
все громче голоса людей простых;
они все жарче: их не заглушить,
их силы — силам зла не сокрушить!
Все человечество — за мирный труд:
в любой стране есть честные сердца,
в любой стране живет рабочий люд,
умеющий бороться до конца.

Мы подписей своих растянем сеть,
чтоб зверь войны, запутавшийся в них,
остался обезвреженный висеть,
без пищи обессиленный поник.
Мы не дадим ему пожрать людей,
насытиться кровавым пирогом;
преступник черный, злобный лиходей,
мир объявил тебя своим врагом!..
Мы всей землей решили мирно жить,
решенье это не перерешить;
с поверхности полей, морей, лесов
волна горячих наших голосов
гремит им в уши, как морской прибой,
разоблачая сговор на разбой.
Мир! — всей земли гремит раскат.
Мир! — на руках ряды несут плакат.
Мир! — За страной страна, поднявшись в ряд,
мир отвоюют и осуществят!

1950

ЛАТВИЯ

Страна молока и меда
и странствующих облаков;
осанистого народа —
рабочих и рыбаков;

Чьи взоры и жесты степенны,
достоинством важным полны;
где чайки, как клочья пены,
срываемой ветром с волны;

Где давность привычек латвийских
соседствует с миром славян —
в березах и соснах ветвистых,
в задумчивой шири полян;

Где шелковый шорох залива,
в котором, сняв золото лат,
купается неторопливо
сияющий медью закат;

Где — раньше, чем скручен и скован
был цепью баронской народ,
он близок и дружен был Пскову,
а Псков был свободы оплот.

1950

СОСНЫ НАД ЗАЛИВОМ

Ночи суровые, длинные,
млечный чуть брезжит свет...
Сосны стоят старинные,
каждой — полтысячи лет;

Если и не полтысячи,
все же вокруг взгляни,
вслушайся, как по-латышски
шепчут друг другу они:

«Здесь без обид, без зависти
люди пытались жить;
ширококрылые аисты
гнезд не боялись вить.

Все было прочно слажено,
радостно ремесло;
ревностно сеяно, сажено —
густо взошло, взросло.

Но парусами крылатыми
вдруг загустела даль;
вышли, сверкая латами,
люди, одетые в сталь,

Страшные, железнолицые,
с белым крестом на груди;
меч змеевидный на рыцаре,
едущем впереди.

Люди иного племени,
каменные сердца;
архиепископ в Бремене
слал их сюда без конца.

В призрачном звоне лютенном
высились города;
пешие — простолюдины,
конные — господа.

Грозная стража ночная,
каменная тишина,
подать двойная, тройная...
Впала в неволю страна.

Только в напевах тайных
возле приморских дюн,
только в народных дайнах —
буря гремящих струн;

Только сквозь волны чистые
давних времен заря:
соки наши смолистые —
слезы из янтаря.

Это несокрушимо мы,
дети родной земли,
в небо ушли вершинами,
в землю корнями ушли.

Здесь мы, воспетые Райнисом,
здесь у родных берегов
будем стоять до крайности,
край сторожа от врагов!»

Ночи суровые, темные,
мерно шумит залив...
Сосны стоят огромные,
торс до вершин оголив.

1950

СБОРЩИЦА ВОДОРОСЛЕЙ

Женщина причесывает море
на рассвете много лет подряд;
ясные и сумрачные зори
с волнами без счету говорят.

Низко-низко наплывают тучи,
словно сны над бледною щекой;
водоросли собраны все в кучи,
женщине пора бы на покой.

Море здесь суровое, сырое,
но душа от этого бодрей, —
словно мать убитого героя
чешет пряди светлые кудрей.

Рыская, сверкая и мерцая,
море шепчет сказки старины...
Это — не царевна ли морская
век свой доживает у волны?!

1950

ЛИЕЛУПЕ

Река Лиелупе, река Лиелупе —
по виду котенка смирней;
но в лодке, на яхте, и в боте, и в шлюпе
относятся иначе к ней.

Не раз уж, девичье покинувши ложе,
в простор моревой влюблена,
всей силой теченья до страсти, до дрожи
кидалась к заливу она.

Но люди того допустить не хотели,
свидания час отдалив;
и волны, как злобные слезы, блестели:
он вот он, он близок — залив!

Пловец, берегись этих светлых, опасных,
хоть с виду смирившихся вод;
стремленье к заливу в волнах ее страстных:
он близок, он рядом, он — вот!

Уносит она пароходы с баржами,
на сильные плечи взвалив;
и волнами блещет, как будто ножами
грозясь, пробиваясь в залив.

Реке Лиелупе, волне Лиелупе —
в разлуке с заливом не быть;
в своем устремленье она не отступит
волну с его волнами слить.

1950

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

Из четырех времен в году
весна милей и ярче всех:
с полей последний сходит снег,
и почки пучатся в саду;
она не терпит зимних бурь,
она людей зовет к труду
и, как зима бровей ни хмурь, —
выводит на небо звезду.

Из четырех времен в году
лето светлей и жарче всех:
оно дает созреть плоду
и рассыпает свет и смех;
как хорошо, сбежав к реке,
остановиться над водой, —
кукушку слушать вдалеке
и видеть месяц молодой.

Из четырех времен в году
осень ясней и тише всех:
не слышно птиц, и на виду
последний вызревший орех;
но открывает небосклон
поляны, в иней серебря,
чтоб виден был со всех сторон
великий праздник Октября.

Из четырех времен в году
зима свежей и крепче всех:

она пруды кует в слюду
и заячий меняет мех...
А на салазках вниз с горы!
А шаг голландский на коньках!
А сквозь морозные пары
вечер — в колючих огоньках!..

1950

ЗИМА

Прелесть утренней зимы!..
Дни стоят невыразимы,
снегу — хоть давай взаймы
всем другим бесснежным зимам.

Снег и снег, и ель в снегу —
в белых пачках — балериной,
снег зажегся на лугу
ювелирною витриной.

Иней мечет жемчуга,
ветка вверх взметнется тенью,
и осыплются снега
театральным привиденьем.

Белый прах провьет столбом,
чтоб развеяться бесшумно,
в небе еле голубом
все безмолвно и бездумно...

На оградах, на столбах
шапки криво вздеты набок,
будто выпивший казак
спотыкался на ухабах.

Этот воздух, этот вид
можно пить не без опаски:
он действительно пьянит
замороженным шампанским!

1953

ФЕВРАЛЬ

Над ширью полей порожних
небес весенний синяк...
Зима плывет на полозьях,
зима скользит на санях.

Задумавшиеся деревья,
задористые лучи,
в оврагах — ревущие ревмя
всклокоченные ручьи.

На ветра скрещенных саблях
сложил свою голову снег,
и свищет отходную зяблик
зиме уходящей вослед.

1953

МАРТ

Открой скорей ресницы,
не в зимнем беспамятном сне:
звенят, звенят синицы
повторную славу весне.

С тобою сядем рядом
на ветра большой самолет,
весенним водопадом
нас с ног до голов обольет.

Ты вспомнишь, как это похоже
на то, что видел глаз,
когда мы были моложе,
но зорче в тысячу раз.

Потому-то только теперь нам
без розовых очков
все видимо точно и верно
раскрытою ширью зрачков.

Открой живей ресницы,
взгляни сюда сама:
последние страницы
перелистывает зима!

1953

ИЮНЬ

Что выделывают птицы!
Сотни радостных рулад,
эхо по лесу катится,
ели ухом шевелят...

Так и этак, так и этак
голос пробует певец:
«Цици-вити», — между веток.
«Тьори-фьори», — под конец.

Я и сам в зеленой клетке,
не роскошен мой уют,
но зато мне сосны ветки
словно руки подают.

В небе — гром наперекат!..
С небом, видимо, не шутки:
реактивные свистят,
крыльями кося, как утки.

1953

СЕНТЯБРЬ

Перенюханы все цветы,
пересмотрены все звезды;
мне всех гор пламенели хребты,
всех зверей тяжелела поступь!

В мире было что посмотреть,
что приметить и что послушать:
ввысь стволов уходящая медь,
отдаленные крики петушьи;

Дым меж веток висел слоист
синеватою пеленою;
вверх ладонью кленовый лист
как литой блестел под луною;

Все, чего рабочий не мог
до советской власти добиться;
что он с первого мая берег —
ветку зелени, пенье птицы;

Все, что гнали в двери взашей,
а оно в окно наплывало;
все, на что душа торгашей
безразличная наплевала!

Что им блеск серебра в реке,
что им золото листопада, —
пачку акций в одной руке,
а в другой автомат им надо!

Все, что — как бы он ни был мал, —
ничего не сказав об этом,
все простой человек понимал,
так как был заодно с поэтом.

1953

ЗАРЯ ИДЕТ

Глазами вверх,
плечами вверх
лечь.
На всклокоченной траве
лежать
и, не страшась простыть,
фиксировать распад росы.

А после,
привалясь щекой
к земле, гудящей, как строка,
будить кузнечика щелчком:
«Заря идет.
Подъем, стрекач!»

1953

МАЯКОВСКОМУ

Драгоценный наш друг Володя!
Вы снискали себе по праву
уваженье во всем народе,
молодую всемирную славу.

Как-то странно, что я прикасался
к вашей теплой большой руке;
что в одном с вами поезде мчался,
об одной толковал строке.

Хорошо, что были вы живы,
громкозвучный, смелый, большой;
никогда не бывали лживы,
никогда не кривили душой.

С вами весело было смеяться,
с вами неба — синей синева;
с вами нечего было бояться
отставать или унывать.

Сколько с вами строф понаписано, —
поспевай лишь рифмы строгать!
Как умели вы ненапыщенно
похвалить или разругать!

Говорят, что строка ваша — лестница,
изучают отдельные части,
а ведь прежде всего она — вестница
человеческого счастья.

Удивляются строю и ладу,
восторгаются: «Златоуст!»
А ведь главное — широта вашего взгляда,
глубина ваших чувств.

Нет, не только событий отклик,
понимаемый кое-как, —
ежедневный творческий подвиг
был ваш путь в века.

Вы не только жизнь посвятили
грозным схваткам со стариной,
но и первым вы ощутили
коммунизм, как свой дом родной.

Потому-то снова и снова
вы — на вышке сторожевой,
воплощенный не в мрамор, а в слово —
неуемный, жаркий, живой!

1953

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Люди! Бедные, бедные люди!
Как вам скучно жить без стихов,
без иллюзий и без прелюдий,
в мире счетных машин и станков!

Без зеленой травы колыханья,
без сверканья тысяч цветов,
без блаженного благоуханья
их открытых младенчески ртов!

О, раскройте глаза свои шире,
нараспашку вниманье и слух, —
это ж самое дивное в мире,
чем вас жизнь одаряет вокруг!

Это — первая ласка рассвета
на росой убеленной траве, —
вечный спор Ромео с Джульеттой
о жаворонке и соловье.

1955

ДОМ

Я дом построил из стихов!..
В нем окна чистого стекла, —
там ходят тени облаков,
что буря в небе размела.

Я сам строку свою строгал.
углы созвучьями крепил,
венец к венцу строфу слагал
до самых вздыбленных стропил.

И вот под кровлею простой
ко мне сошлись мои друзья,
чьи голоса — не звук пустой,
кого — не полюбить нельзя:

Творцы родных, любимых книг,
что мне окно открыли в мир;
друзья, чья верность — не на миг,
сошлись на новоселья пир.

Летите в окна, облака,
входите, сосны, в полный рост,
разлейся, времени река, —
мой дом открыт сиянью звезд!

1955

СОЛНЕЧНЫЙ ХМЕЛЬ

Май,
невиданный
в старину,
и неслыханный
в старину,
май,
идущий
на целину.
Разгорайся,
майский рассвет,
восемнадцать
и двадцать нам лет —
нашей молодости
первоцвет.
Нашей жизни
радостна цель,
в наших жилах —
солнечный хмель
открывателей
новых земель.
Сквозь
земли отогретой
дым
хорошо шагать
молодым
вместе
с месяцем золотым.

Наше небо —
во весь охват,
май наш,
солнцем и силой богат,
сводит вместе
восход и закат.
В прошлогодья
была темна,
а сегодня
людьми шумна —
неоглядная
целина.
Миллионы
хлебных пудов
и цветение
новых садов —
результаты
наших трудов.
Май,
неслыханный
в старину,
май,
согнавший
снегов пелену,
поднимающий
целину —
май
зеленый
на всю страну!

1955

ВСЕОБЩАЯ МЫСЛЬ

Те,
что привыкли жрать жирно,
с колоний сдирая
доходов шкуры,
на нас,
желающих жить мирно,
глядят исподлобья,
злобно и хмуро.
Мы
до того их натуре немилы,
нас
до того не выносит их взор,
что только
с позиции силы
они с нами могут
вести разговор.
С профилем,
к небу спесиво задранным,
на котором
пыл боевой не погас,
они
лишь в оружии термоядерном
видят опору
своих богатств.
Но даже
всем золотом мира владея,
оплавив в платину
стул и кровать,
неужто верят они,
что идею

можно сжечь,
                          уничтожить,
                                                взорвать?
Идея мира —
                          это воздух,
                                                которым
человечество дышит,
                                        здоровеет,
                                                        живет, —
и никаким
                     воякам матерым
не зажать
                    человечеству рот!
Миллиардеры
                          выдумкой нищи;
один лишь помысел
                                     ими лелеем:
весь мир превратив
                                     в глухое кладбище,
остаться одним
                               жиреть на земле им!
Одни над землей
                                  хотят они властвовать,
железных робо́тов
                                    приставив к станкам...
Врут!
          Человечество
                                    останется здравствовать,
его уничтожить —
                                   кишка тонка!
Человечество творческое,
                                               рабочее,
которым
                  все ценности сотворены,
всеобщей мыслью
                                  сегодня озабочено:
обуздать
                  поджигателей войны!

1955

МИРСКОЙ ТОЛК

1

Плотник сказал мне:
«Я буду работать —
просто убийственно!»
Он никого не хотел убивать.
Это обмолвка его боевая,
это великая,
неистребимая истина:
сталью сверкать,
добывая,
а не убивая!

2

Женщина вскапывает огород,
силу трудом измеряет.
Я к ней с приветом:
«Вот где работа — не лень!»
Слышу ответ:
«Кто не работает,
тот помирает!..»
Звонкоголосый
осенний
синеющий день!..
Вот она, правда:
безделье смертельно.
Вот оно, слово:
бессмертье артельно.

3

У плотника
стружка вьется,
как русые кудри
у юноши.
Он сам, напевая,
смеется,
на всякие беды
плюнувши...
«Кто дерево
ладно тешет,
тот радостью
сердце тешит;
кто ловко
пилою правит,
тот память
о себе оставит».
Таков его говорок,
такое присловье.
Ступает за ним
на порог
сосновой смолы
здоровье!

4

Вот говорят:
конец венчает дело!
Но ведь и венец
кончает тело?!
Один венец —
из золота литой,
другой —
в извивы лент перевитой;
один венец —
лавровый,
другой —
терновый.
«Какой себе,
подумай,

заслужишь,
человек?» —
спросил худой,
угрюмый,
но сильный
дровосек.

5

Каждый
счастью своему кузнец...
Так ли это
уж всегда бывает?
Часто
молота пудовый вес
только искры счастья
выбивает.
«Вот гляди, —
сказал кузнец, —
сюда, —
охлаждая
полосу в ведерке, —
счастья
будто нету и следа,
а оно кипит,
бурлит в восторге!
А когда
охладевает сталь,
мы опять
искать его готовы,
нам опять
былого счастья жаль,
как случайно
найденной подковы!»

1955

ШИРИМ РАЗМАХ СЕМИМИЛЬНЫХ ШАГОВ

Народа нашего радость великая —
великая горесть для всех врагов...
В завтра, вперед, республику двигая,
ширим размах семимильных шагов.

В угле, в железе, в электричестве, в нефти
капитализму идем на обгон;
наши успехи признавши нехотя,
пытается мир пугать ими он;

Ждет, чтобы страны уши развесили,
внимая его измышленьям дрянным —
глупым сказкам о нашей агрессии,
грозящей странам со строем иным.

Спешат подхватить газетчики шустрые,
закупленные до конца их ногтей,
сплетню, что рост нашей индустрии —
пугало для маленьких долларовых детей.

Но мы их угрюмым прогнозам ответили, —
и миру ответ наш более мил, —
новым размахом в шестом пятилетии
развития производительных сил.

Новые шахты, заводы, домны,
электростанции и города...
Как удивительны и огромны
будущие результаты труда!

Больше продуктов, тканей, одежи!
Новых станков быстроходье — кружись!
Шире познания молодежи!
Больше вещей, облегчающих жизнь!

Народа нашего радость великая —
великая горечь для наших врагов...
Вперед, к коммунизму республику двигая,
ширим размах семимильных шагов!

1956

ВСПОМНИМ СВОИ МОЛОДЫЕ ГОДА!

Нам ли с тобою
жить в скорлупе?!
В поезде ездить
в отдельном купе,
на самолете
в кабинке сидеть, —
только в окошко
на землю глядеть?
Не умещается
радостный мир
в тесном уюте
наших квартир!
Вспомним свои
молодые года:
как нас подхватывали
поезда!
В красных теплушках
песню везли,
слов ее
слышать без слез
не могли.
К нам подлетал
паровоз-молодец
в облаке шумном
надежд и чудес...
Руку протягивал
машинист,

спросит лишь:
«Ты коммунист?» —
«Коммунист!»
Ну, так поехали!
Дальше!
Вперед!
В молниях
вился колес оборот, —
наши квартиры
во весь горизонт:
нас
за полмира
вечность везет!
Разве не может
теперь это стать?
Может!
Сквозь время
лететь и блистать —
время нам молодость
снова вернуть:
ею памечен
проложенный путь!

1956

ЖИВОЙ ПАМЯТНИК

Подводники и летчики стояли
на каменном отвесном берегу,
как будто их к граниту припаяли
наперекор, наперерез врагу.

Стояли наши мальчики в регланах
своим отдельным, маленьким мирком;
война их юность в замыслах и планах
сломала и пустила кувырком.

В опасности сердца тесней роднятся,
здесь ожиданьем полон каждый час.
Одним приказ появится: «Подняться!» —
другим: «Спуститься!» — прозвучит приказ.

Над ними небо вздыблено высоко,
под ними блещет яркая вода;
вверху — одно всевидящее око,
внизу — одна бездонная беда.

Война была к годам их беспощадна,
действительность — виденьем наяву;
не потому ль так яростно и жадно
их взоры упирались в синеву!

Был узок фьорд, подлодки встали рядом,
наискосок, как ломти пирога;
их экипажи звали небо взглядом,
окованным в крутые берега.

Стояла тишь над каменным фиордом...
Они виднелись группой боевой
в молчании своем смертельно гордом,
как памятник самим себе живой!

1956

ШАГИ В ГОРУ

> В небесах торжественно и чудно!
>
> *Лермонтов*

Мы бьемся для всех
за самое лучшее:
за лучшие мысли,
дела и мечты,
за то,
чтоб рассеивало солнцелучие
сумрак
бесправия и нищеты;
чтоб в каждую голову,
низко свешенную,
горько опущенную
на грудь,
мысль,
ободряющую, светлую, вешнюю,
заронить,
укрепить,
вдохнуть;
чтоб были доступны
одежда, жилище
для всех,
кто жизнь ведет
на гроши;
чтобы здоровая,
свежая пища

была для тела
и для души;
чтоб были глаза у детей
беззаботные,
знакомые с небом,
лесом,
травой;
чтоб не ложились
безработные
тенями
на мостовой!..
Мы трудимся
до семи потов,
мы горы препятствий
преодолеваем,
преследуемы
на сотни ладов
противоположного
лагеря лаем;
но слон труда
сметает с пути
всех
на него звереющих шавок;
ему тяжело
и грузно идти,
немало преград
для шагов величавых;
и хоть восхождение
долго и трудно,
но в каждом городе
и в каждом селе
станет торжественно
и чудно
не только на небе,
но и на земле!

1956

ЗЕМНОЙ РАЙ

За радость жить в раю
я все вам отдаю:
и власть, и честь,
и страсть, и лесть, —
за радость жить в раю.

За жизнь среди цветов
я все забыть готов:
и злость, и ложь,
и к горлу нож, —
за жизнь среди цветов.

Я все вам отдаю,
я все готов простить —
за счастье жить в раю,
за радость рай растить...

Не долговечен рай,
не долголетни дни;
вот крыльям птичьих стай
полет листов сродни.

Вот кончилась пора
веселых голосов;
земля в слезах, сыра,
и двери на засов.

Но даже малый срок
пылания цветов —
в дыханье этих строк,
в движенье этих слов!

1956

ПЯТЬ СЕСТЕР

О музах сохраняются предания,
но музыка, и живопись, и стих —
все эти наши радости недавние —
происходили явно не от них.

Мне пять сестер знакомы были издавна:
ни с чьим пи взгляд, ни вкус не схожи в них;
их жизнь передо мною перелистана,
как гордости и верности дневник.

Они прошли, безвкусью не покорствуя,
босыми меж провалов и меж ям,
не упрекая жизнь за корку черствую,
верны своим погибнувшим друзьям.

Я знал их с детства сильными и свежими:
глаза сияли, губы звали смех;
года прошли, — они остались прежними,
прекрасно непохожими на всех.

Я каждый день, проснувшись, долго думаю
при утреннем рассыпчатом огпе,
как должен я любить тебя, звезду мою,
упавшую в объятия ко мне!

1956

СЧАСТЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ КУРЯНЕ!

Курские раздолья и угодья,
курская повадка, удаль, стать...
Разрешите мне на новогодье
под окном у вас пощедровать!

Добрый вечер, щедрый вечер, люди,
все, кто мне по-прежнему сродни!
Верю я, что добрый вечер будет —
щедрые и вечера и дни.

Кланяюсь я Тускори и Сейму,
кланяюсь и людям и полям.
Радости, здоровья и веселья,
земляки мои, желаю вам!

1957

СВЕЖИЙ СТИХ

Москва бензином фыркает,
машинами полна,
Петровками, Бутырками
спешит, гремит она.

Москва полна заводами,
вздымающими дым,
и майскими погодами
трудиться надо им.

Жаровней раскаленною
асфальт на мостовых...
Вставай, стена зеленая,
по улицам Москвы!

Не только ширью Горького
насадим город-сад, —
пусть все дворы и дворики
листвой зашелестят.

Вставай, взмахни нам веером,
Садовое кольцо,
чтоб свежесть летним вечером
дохнула нам в лицо;

Чтоб все дома с балконами
вздымали зелень ввысь,
чтоб все — многооконные —
цветами оплелись.

От нас это зависимо,
чтоб всюду — грядок ряд,
чтоб нос куда ни высунешь —
сирени аромат.

Пусть в жар не опаленная
свежеет мысль в мозгу:
оденем в сень зеленую
красавицу Москву!

1951—1957

НОВОГОДЬЕ

Какой был год,
какой был год!
Какой был
этот год!
Поднялся спутник
в небосвод,
за ним —
второй — в полет!
Какой был год,
высокий год,
наш
именинный год!
На лоно мирных вод
сошел
атомный ледокол.
Таков был
этот щедрый год —
корней советских
плод.
Турбины
Куйбышевской ГЭС
пустил он
в оборот.
На фестиваль
от всех широт
был
молодежи слет.

У тех,
кто, нас пороча,
врет —
запекся
лживый рот.
ТУ-114
взлетел,
могуче
воспарив,
над широтою
наших дел,
над гущиною
нив.
Растил
целинный урожай
советский
полевод.
«Опережай!
Опережай! —
заводу
пел завод. —
В соревнованье
провожай
наш
юбилейный год!»
Росли
строительства дома
дружней
пчелиных сот,
как будто их
стрела сама
возводит
и несет.
Но люди там
и люди здесь,
внизу
и в высоте,
и —
точно крылья —
город весь

раскинул
зданья те.
Таков был
власти трудовой
страны
обширный год —
на новой
вышке буровой,
в рекордах
славы мировой,
за новыми
в поход!
Таков был
этот прошлый год, —
он не был
тих и прост.
Горяч
работы жаркой пот, —
а вот уж новый
вышел в рост,
стучится у ворот...
Стучит в ворота
и в сердца:
«Смелей,
смелей вперед!
Народной славы
у творца
никто
не отберет!»

1958

НА ТРИНАДЦАТЫЙ СМОТР

Шорох капель по улицам широким:
животворным весенним дождем,
молодых коммунистов потоком
локоть к локтю мы дружно идем.

Мы проходим по новому Арбату,
по Песчаной, где были пустыри, —
это наши рабочие ребята,
наши девушки — румянее зари.

Мы не жаждем окладистых бород,
не стремимся добром обрастать, —
только тот, кто отважен и молод,
может звезды в полете достать.

Среди нас есть немало гвардейцев,
кто в борьбе и в работе мастак.
Состязайся, старайся, надейся
стать гвардейцем в делах и в мечтах!

Нашей партией путь нам проложен,
с ней мы радостным маршем идем —
это Ленинский Союз Молодежи,
закаленный целинным трудом.

И по всем городам и селеньям
мы идем всех времен впереди, —
озаряет нас ясностью Ленина
комсомольский значок на груди.

Сорок лет — знаменательная дата!
В солнце, в ветре, в дыхании смол —
на тринадцатый съезд, делегаты,
на тринадцатый смотр, комсомол!

1958

СТЕПНОЙ НАЙДЕНЫШ

Я вновь перечитываю Брет-Гарта,
и снова раскидывается предо мной
Америки старая пыльная карта
своей бесконечной степной шириной.

Еще не распахана почва плугом,
еще вдоль дороги не вбиты столбы,
еще не начали друг с другом
Север с Югом
ружейной пальбы.

Фургон колыхается мерно и тяжко,
вдали ковыляет унылый койот;
погонщик воловьей тяжелой упряжки
шагает, табачную жвачку жует.

Подробности в сумерках медленно тают,
их смоют потоки нахлынувшей тьмы...
Хоть дети во сне, говорят, подрастают,
но эти останутся вечно детьми.

Степные найденыши... Будет излюблен
рассказ этот в детстве намеченных лиц.
Фургон будет выслежен, смят и изрублен
и все же бессмертен на сотне страниц.

И слышимо будет: «Кларенс! На ручки!»
А он бы сквозь пыль и скрипенье колес
ее на руках за закатные тучки
на самое небо над степью занес!

1958

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Вам хотелось бы знать
тайну Эдвина Друда?
Это Диккенса
самый последний роман.
Он его не окончил.
Осыпалась груда,
и молочной стеной
опустился туман.
Вы мне станете петь
про нелепость,
про дикость
всяких тайн,
от которых и пепел остыл.
А ко мне приходил
в сновидениях Диккенс
и конец,
унесенный с собою,
открыл.
Что случилось действительно
в Клойстергэме,
в этом
автором выдуманном
городке?
Кто распутает узел,
затянутый в теме,
лед могильного камня
согреет в руке?

Было так:
двое юношей вышли к потоку,
и один не вернулся...
Другой обвинен.
И осталось
разгадывать тайну потомку
этих давних,
дождями залитых времен.
Тайна Эдвина Друда,
тайна Эдвина Друда!
Это
самый таинственный в мире
роман.
Не раскрыть,
не поднять,
не добыть из-под спуда,
не залезть любопытству
в загробный карман.
Но события
так убедительно явственны,
так участники драмы
в одно сведены,
что фантазия
яростно мечется
на́ стену —
увидать,
что за той стороною
стены!
Время движется шагом
величавым и медленным,
люди тают,
как призраки,
в бездне сырой.
Что стряслось,
что случилось с беднягою Эдвином?
Где в тумане укрылись
злодей и герой?
Эту тайну
я только пред теми открою,
наклонившись над ухом,
тому прошепчу,

кто докажет
всей страстью своею,
всей кровью,
что фантазия наша
ему по плечу.
Тот со мной
побывает сегодня в Вестминстере,
в серый камень столетья
всем сердцем встучась,
где, разгадку скрывая,
покоится исстари
все, что позже случилось,
предвидевший Чарльз.

1958

МОСКВА — РОССИЯ

Два слова: Москва и Россия,
два зова: Россия — Москва, —
кого на земле ни спроси я,
всем ведомы эти слова!

На том берегу океана,
на дальних морей островах
они говорят неустанно,
звучат о народных правах.

О гордых правах человечьих
на счастье, на радость, на труд
на всех языках и наречьях
они поразмыслить зовут.

Откуда ж пошла эта слава,
и как это — вдаль погляди —
Россия взяла себе право
народов стоять впереди?!

Россия с Москвы начиналась,
как клекот лебяжий — с птенца.
Москвой от врагов защищалась,
Москвой красовалась с лица.

Москвой собирала полюдье,
Москвой принимала удар;
Москвой становилася грудью
пред полчищами татар.

Да мало ль она выносила
набегов и бед без конца!
Но крепла упрямая сила
московского люда-творца.

Страдала, горела, пустела —
на окрик не встретишь ответ —
и снова сверкала, блестела,
все злое забыв напослед.

Стекался народ под крыло ей,
вставал на большие труды,
и снова — строенья жилые,
и снова — торговли ряды.

Рядилась Москва с заграницей
пушистою, мягкой деньгой:
на белку, песца, на куницу, —
да лесом, да льном, да пенькой...

Бывало, слепя и блистая,
сибирского снега белей
отсвечивали горностаи
на мантиях их королей.

Где взять строевого на мачты
и чем просмолить паруса?
Да ладно, дадим уж, не плачьте:
у нас строевые леса!

Не то чтоб купцы да монахи
вершили истории ход, —
за волю и долю на плахи
нес головы честный народ.

Он эту историю ладил
от первых венцов до стропил,
рубанками стены ей гладил
и творогом башни крепил.

Рубили и лен засевали,
синевший небес синевой,

и песни о нем запевали —
как били, трепали его!

У нас мастера молодые,
возьмутся — так любо глядеть,
а даже и деды седые
умеют, работая, петь.

Мы можем и силой тягаться,
чужого не ищем добра, —
свое бы осилить богатство,
свое бы поднять на-гора!

Всплывает луна над Алтаем,
заря над Кавказом горит;
богатства — и не сосчитаем,
что воля народа творит.

Кучумово царство Сибири
стряхнуло дремоты снега;
во всей своей мощи и шири
трудом зашумела тайга.

Где каторги брякали цепи
и крался варнак, боязлив, —
к тайге подступает из степи
целинный пшеничный разлив;

Где зной по пустыням Востока
сжимал все живое в тиски, —
там влага живого потока
каналом дохнула в пески;

А где по болотам, оврагам,
по берегу сонной реки
тянули медлительным шагом
набухший канат бурлаки, —

Там мощные теплоходы
большую волну развели;
кочующие скотоводы
оседлую жизнь повели.

Не терпим мы лености праздной,
труд ценим великой ценой.
Якутия стала алмазной,
Башкирия — нефтяной.

Смогли далеко разблистаться,
сиянием озарены,
в каскадах электростанций
великие реки страны.

И стали сиять неустанно
довольство и гордость в глазах
Туркмении и Узбекистана;
стал весел бурят и казах...

Пятнадцать республик советских,
пятнадцать могучих сестер —
нагорных, приморских, полесских —
на вольный выходят простор.

И все это, сбросив насилье
и цепи веков расковав,
в единство сплотила Россия,
и сблизила в братство Москва.

Все это мы начали сами,
открывши дорогу труду,
под новыми небесами
в семнадцатом светлом году!

1958

ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Я
не слагатель
од благолепных
и в одописцы
не тщился попасть...
Но как обойтись
без светлых,
хвалебных
слов
про родную
советскую власть!
Когда за рубеж
Советской державы
отъедешь
на добрую тысячу верст,
то свет ее разума,
блеск ее славы
словно тебе
прибавляет рост.
Ты видишь размах
ее творчества,
силы,
ее человечность
и доброту,
которые миру
она возвестила,
поднявшись
в заоблачную высоту.

И хочется радоваться
и восхищаться
тем,
что ты дожил
до этих лет,
до чувств,
которым в груди не вмещаться,
до дня,
который еще не воспет!
Волненья времен
разойдутся круги,
история
выдаст достойнейшим лавры,
и вымрут на свете
наши враги,
как ископаемые
ихтиозавры.
А наших героев простых
имена,
страной возвеличенные
сердечно,
будут сиять
во все времена,
останутся жить
в человечестве
вечно.

1958

БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Гремите,
поэтов баллады,
чем дышит
рабочих среда,
вперед высылая
бригады
коммунистического труда!

Мы к технике
руки приложим,
мы сердце
с металлом сольем,
и нет ничего,
что не сможем
осилить
в движенье своем.

Бледнеют враги
от досады:
для них
наше рвенье —
беда.
Так в строй,
молодые бригады
коммунистического труда!

В заводе,
в ученье
и в поле,
на небе,
в морях,
на земле —
мы все обучались
в той школе,
чье знамя
горит на Кремле.

Чтоб все были
бодры и рады,
чтоб нужд
не осталось следа,
вперед,
молодые бригады
коммунистического труда!

Нас партия
делу учила,
в работу пустила
страна,
и вот она,
мощная сила —
рабочих успехов
волна.

Гремите,
поэтов баллады,
чем дышит
рабочих среда.
Вперед,
молодые бригады
коммунистического труда!

1958

МАРШ
СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Дан
семилетний план!
Путь семицветный
к цели заветной
мирных рабочих стран.

Радуги разворот
выгнут во весь небосвод.
Солнечной призмой
путь к коммунизму
нами намеченный вход!

Знает рабочий люд
строгий, упорный труд,
в шахтах у штолен,
в пламени домен
коммунистический труд!

Пусть до седьмого
пота работа:
станет реальностью план.
Наши усилья,
наша забота —
радость рабочих стран!

Знамя успеха
каждого цеха —
алый флажок над станком.
Доблести нашей рабочей
утеха —
выше лавровых венков!

Наши усилья,
наша забота —
путь к коммунизму пробить.
Вот они, вот они,
эти ворота, —
надо их шире раскрыть!

Наша забота,
наши усилья
партией вдохновлены.
В край ликованья,
в край изобилья —
счастья родимой страны!

Дан
семилетний план —
в будущее таран,
план семилетний
в день многоцветный
мирных рабочих стран!

1958

СВИДЕТЕЛИ-НАСЛЕДНИКИ

Писатели
разных родятся мастей,
различных повадок,
привычек
и вкусов.
Одни погибают
от сильных страстей,
другие —
от комариных укусов.
У этих —
привычка к семейным халатам,
у тех —
к ночевке на жесткой скамье...
Мы Пушкина
видеть привыкли женатым,
а Лермонтова
не представишь в семье.
Вот и Маяковский
не был семейным,
ни дядей не числился,
ни женихом,
ни домом своим не владел,
ни именьем;
он гол как сокол был —
стальным опереньем,
одним обладал он богатством —
стихом!
И вот продолжаются
поздние споры:

откуда же
это богатство взялось?
Одни говорят,
его выдали горы,
другие —
в семье накопить удалось.
И те,
кто его представляет пай-мальчиком,
на славу его
предъявляя права,
рисуют
обыденных радостей пайщиком, —
неужто забыли
его слова:
«Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступе́ней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!»
О, как это сказано
страшно и просто!
Ведь слов этих
не изменишь судьбой,
как не укоротишь
его буйного роста
и на диванчик
не втиснешь с собой.
Как много наследников
у великих!
Как их украшает
родственный прах!
Как любят они
в приветственных кликах
сидеть
на торжественных вечерах!
Отбросьте масштабы,
личные,
куцые!

Для вас он всегда был
лишь ветреник лир, —
но матерью
стала ему Революция,
отцом —
новозданный Советский мир.

1959

ЕЩЕ О ТОМ ЖЕ

Беда Госиздату,
беда Книгоцентру:
идут переводы
со всех языков.
А как на них
установишь цену-то?
Каков переводчик?
Подстрочник каков?
Ведь вот объявилась,
как это ни странно,
праправнучка
Аристофана.
Начисляется
будто бы плата
внуку переводчика
Теренция и Плавта.
И наконец —
потомок Бояна,
пылом наследниковым
обуянный,
требует платы
за «Слово о полку Игореве»,
но говорят,
у него дело не выгорело!
Стоят переводчики
тесной толпой,

не так уж приметные
в массе,
и движутся важно
античной стопой
к обетованной
кассе!

1959

ПОРТРЕТЫ

Зачем вы не любите, люди,
своих неподкупных поэтов?
Взывая к векам о бессудье,
глядят они грустно с портретов.

Одни на дуэли убиты,
другие, не сладив с судьбою,
от сердца смертельной обиды
покончили сами с собою.

Не верят созданий их пользе,
осмеивают и ругают,
пока они живы,
                    а после —
им памятники воздвигают.

Верните их к жизни скорее!
Пусть вышли из моды костюмы,
пусть выцвели снимки, серея,
но живы их мысли и думы.

Зачем вы не любите, люди?!
Зачем вы их губите, люди?!
Но нет на вопросы ответов,
глядят они грустно с портретов.

1952—1960

ЗА ЗДОРОВЬЕ!

За здоровье!
За здоровье
милой женщины родной!
Той,
что только тронет бровью, —
и пойдешь
за ней одной.
За здоровье
близкой самой,
ровной
летом и зимой...
Может,
скажете — упрямой?
Пусть упрямой,
но — прямой!
Неподкупной,
справедливой,
вся —
душою на виду!
Не всегда
во всем счастливой,
всем обязанной
труду.
На глухие
вражьи сплетни
головы
не повернет,

лишь огнем
зари рассветной
против мрака
полыхнет.
Улыбнетесь:
«Что за диво?
Может,
лести звук пустой!
А красива ль?»
Да, красива —
не заемной
красотой.
Да, красива!
Долгим взглядом,
синим светом
зимних звезд.
Хоть кого
поставить рядом —
не подходит.
Не под рост!
Нет нигде
ее красивей
между всех имен
и стран...
А зовут ее —
Россия.
Ей высокий
жребий дан:
осветить
лицо природы,
обезвредить
произвол,
чтоб сошлись
земли народы
за единый
братский стол.

1961

СТОИЛО ЖИТЬ!

Мы дожили до этого!
Стоило, стоило жить!
Ждать, надеяться, думать, трудиться, стараться,
чтобы первый из нас
мог отважный свой путь проложить
сквозь космическое пространство.

В эту область
беззвездья, беззвучья, таинственной тьмы
он вознесся впервые
полетом неслыханной славы.
Одинокий, единственный?..
Нет, не один:
с ним и мы,
мы — родные народы
великой Советской державы.

В неразведанный мир, на невероятную высь
поднялся он,
и мир ему будет века благодарен.
Поднялся он,
и мы с ним душой заодно поднялись.
Заодно!
Душа в душу с тобою, товарищ Гагарин!

1961

КАРНАВАЛ

Вселенная летит в провал
под атомные ядра?..
Пора устроить карнавал
всемирного театра.
Пора устроить карнавал
везде, как в старом Риме,
чтоб ветер мира волновал,
чтоб маски всюду с лиц срывал
у тех, кто ходит в гриме!
На Корсо двигайся, не стой,
петарды рви и песни пой —
куплеты в странах разных:
Нью-Йорк, и Лондон, и Париж,
добром вас не уговоришь
начать народный праздник.

Те, кто в ответственных чинах
начать войну готовясь,
все превратить грозятся в прах,
забывши стыд, скрывая страх
и потерявши совесть.
Сошла военщина с ума.
Не допускайте их в дома —
полезен свежий воздух;
пусть сами ищут, что жевать...
И не жалеть, не горевать
о выгнанных прохвостах!

Миллиардеры! Сдвой ряды!
В тюрьму печатайте следы;
там диктор, тих и нежащ,
их информирует вполне,
что нет нигде в любой стране
прочней бомбоубежищ.
Их ждут полезные дела:
фуганок, рашпиль и пила,
и мастерок, и кисти;
там станут снова обучать,
как звонко молотом стучать
без всяческой корысти.
Не все им жить в тени хором,
водить всю жизнь рукой с пером,
выписывая чеки;
хоть столяром, хоть маляром,
но выйди в человеки!

А как тогда с войсками быть?
Да по домам их распустить;
оружие — на склады,
со складов — в шихту на завод.
Вот будет счастлив весь народ,
все страны будут рады!

А как же станут торговать?
А перестанут воровать,
ведь денег-то не будет!
К чему ж тогда и суд и власть,
когда житье всем людям всласть,
когда никто не станет красть
и все довольны люди?!

А на земле — и там и тут —
один маршрут, другой маршрут:
полет в любую сферу
проложен и осуществлен —
на Сириус, на Орион,
на Марс (через Венеру).

Нет, не на гибель, не в провал
пойдет вселенский карнавал
все радостней и краше,
где человечьему уму
дано прорезать вечность — тьму,
и где все звезды наши!

1962

СВЕРСТНИКИ

В путь-дорогу скарб уложившие —
и надежд и печалей остаток, —
много видевшие, пережившие,
разменявшие восьмой десяток,

Мы не только живущим сверстники
проходящего нынче года, —
мы, пожалуй, уже бессмертники
своего, особого рода.

Те, кто жили, любили, мучились,
пополняли рядами роты,
заслужили участи лучшие,
чем сведенные с жизнью счеты;

Те танкисты, миноискатели,
партизаны, парашютисты,
кто бесценную юность истратили
под осенней невзгоды свисты, —

Мы от ихних дней делегатами,
чтоб — не только внушая жалость, —
а чтоб новых событий богатыми
биографии их продолжались.

В свой последний поход идущие
на передовые,
все равно мы верим в грядущее,
как и те, рядовые.

1962

КРЫЛАТОЕ ДЕРЕВО

Известно около ста
пятидесяти видов клена.

Энциклопедия

Нет, не бездушности потемки,
магнатов дети,
а наших славных дней потомки
за все в ответе.

Осенних листьев жар багряный
земля взметает,
и плод крылатый, на воздух прянув,
кружась, слетает.

Так дерево перелетает
за океаны,
и радует, и осеняет
другие страны.

В Боливии, и в Барселоне,
и в Парагвае
освобожденный гимн колоний
слова слагает.

И ветер, разгоняя тучи,
двукрылья клена
несет через моря и кручи
в земное лоно.

И эти крылья-семена
в исходе лета
разносят наши имена
по странам света!

1962

БЕССОННЫЕ СТИХИ

Мне не бабушкино
знахарство,
не рецепты
мудрых врачей, —
стих —
единственное
лекарство
от бессонных
долгих ночей.
Нет в природе
помощи лучшей,
поднимающей чувства
ввысь,
как крылатостью
двух созвучий
выводить на орбиту
мысль.
На четыре
стороны света
открывается
горизонт,
и душа
стихом обогрета,
и —
бессонница не грызет!
Это средство
вам не игрушки,
сонным людям
оно не впрок;

это все испытали:
Пушкин,
Баратынский,
Лермонтов,
Блок...
Маяковский?..
Должно быть, редко.
Надо вот что
иметь в виду, —
на вопрос он сказал бы:
«Детка,
я
работаю
на ходу!»
И,
услышанный всем народом,
в громогласье
своих стихов, —
гулливеровским
пешеходом
он ушел бы
за грань веков!

1962

ЖИВОЙ

Как по Питерской,
по Тверской-Ямской...

Старинная песня

Как по улице
по московской,
еще веющей
стариной,
шел — вышагивал
Маяковский,
этот самый.
Никто иной!
Эти скулы,
и брови эти,
и плеча
крутой разворот, —
нет других таких
на планете:
измельчал что-то
весь народ.
Взглядом издали
отмечаясь
посреди
текущей толпы,
отмечаясь
и отличаясь,
как горошина
от крупы,
шел он буднями,
серыми зимними,

через юношеские
года,
через площадь
своего имени —
Триумфальную
еще тогда.
Шел меж зданий
холодных каменных,
равнодушных
к его судьбе;
шел
живой человеческий памятник,
непреклонный
в труде — в борьбе.
Шел добыть
на обед монету —
не для жизненных
пустяков, —
шел прославить
свою планету
громовым
раскатом стихов.
С толстомясыми
каши не сваришь,
а худой
худому сродни:
сразу видно —
идет товарищ!..
Так мы встретились
в эти дни...
Вот идет он,
мой друг сердечный,
оттолкнув
ногой пьедестал, —
неизменный
и бесконечный,
тот,
кто бронзовым
так и не стал.

1962—1963

СТИХИ ПРО СЕБЯ

Без тебя мне страшно остаться,
и одну тебя страшно оставить,
ведь в гражданской доблести святцах
не сумел я себя прославить.

Не был в милости у начальства
и чинами не заслужен, —
только ты о том не печалься:
был зато я с народом дружен.

Не хочу, чтоб мою квартиру
превратили в один из музеев,
где б вожатый юному миру
пояснял: «Вот как жил Асеев».

Я не Горький, не Станиславский,
не Шаляпин и не Есенин;
к государственной щедрой ласке
невнимателен и рассеян.

Но, быть может, все же запомнят —
как я жил, работал, старался,
сколько было в квартире комнат,
в скольких женщин в стихах влюблялся.

Это было б тоже отлично,
чтоб хранила ты мои строчки,
чтоб за окнами, как привычно,
распускались твои цветочки.

А вернее, что после смерти, —
лишь цветы на венке увянут, —
окружат меня критики черти
и в забвения ад утянут.

Лишь тебе бы не стало плохо:
для домовой конторы — кто ты?
Вот о том до последнего вздоха
не оставят меня заботы!

1962

РАЗГОНЯЮТСЯ ТУЧИ

Оправдали расстрелянных;
возвратили права
сотням жен их растерянных,
в ком душа чуть жива.

Были юны и пылки,
не страшились судей;
возвращались из ссылки —
стали снега седей.

Ни кибитки да тройки,
ни некрасовский стих
ореолом героики
не украсили их.

Снова в жизнь возвращенье,
правда вышла на свет;
только нет возмещенья
стужей выжженных лет.

Но иными заботами
обременена,
новостройки с заводами
поднимает страна.

Разгоняются тучи,
разметают следы
неминучей горючей,
но летучей беды.

Словно сказ об Адаме,
словно смолкшая медь...
Хорошо, что с годами
стала память неметь.

Кто ж бесчувственно глянет
в даль недальних времен,
чья душа не отпрянет, —
тому — глаз вон!

1962—1963

ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНУ

Когда Сталина
хоронили,
плыло море
людских голов...
В большой колокол
не звонили,
так как
не было колоколов.
Отчего же
давка у гроба?..
Набегают
со всех сторон,
чтоб увериться,
глянуть в оба:
что́ по смерти
оставит он?
Он, воспетый
в стихах и в прозе,
переснятый
тысячи раз, —
он лежит
в неподвижной позе,
не откроет
жестоких глаз.
Молчаливым он жил
и скрытным,
затаившись
в тени дворца.

И положено было
чтить нам
полководца
и мудреца.
И тогда
у смертного праха
мы не знали,
как же нам быть:
продолжать
каменеть от страха
или
громко заговорить?
Но не смерклась
партии сила,
не покрыла
Россию мгла...
Что от Ленина
получила,
то в народе
уберегла.
И преградой
для всех покушений
своевластно
править страной —
встала
воля партийных решений,
и не стало
воли иной!
И открылись
Кремля ворота,
и начался
с тех самых пор
у воспрянувшего
народа
убедительный
разговор.
Разговор
о большой заботе,
чтобы страх
опять не возник,

чтоб нигде
ни в каком народе
не поднялся
его двойник!
Так вот страх
мы похоронили,
и сподручней
работать нам.
Верность Ленину
сохранили,
верность
ленинским временам.
Семилетка —
крупное слово,
но и ту мы
из года в год
уплотняем
снова
и снова,
нажимаем
на полный ход,
чтоб
сказать коммунизму:
«Здорово!
Вот он — видим.
Он — вот он!
Вот!!»

1962

Поэмы

Урал

1

Стара земная кора,
ох, как стара!
Большая прошла пора,
пока
с горой не сошлась гора.

Большие прошли века,
пока
русла не нашла река,
за веком век, —
пока
не пришел к горе человек.

Миллионы лет
земли изменялся цвет.
Миллионы лет,
которым пропал и след.
Миллионы лет,
был пламенем
мир одет

Кой-где
затвердели на ней
острова — щиты;
а все остальные пространства
были огнем залиты;
московский щит,
сибирский щит
столкнутся так,
что в недрах земли
трещит!

И вот
проходила опять
мильонолетья пора;
от столкновенья щитов
выпирала наверх гора;
края щитов
загибались концами вверх,
на дно щитов
пары океан низверг.

Края щитов
сшибутся — века дрожат, —
Уральский хребет
поднялся — меж них зажат,
и над землею,
от пепла и дыма седою,
окаменел
своей неподвижной грядою.

2

Урал похож
на каменное коромысло
от севера к югу:
на одном конце его
Карское море повисло,
сея седую вьюгу,
серое море Карское
с Байдарацкой сизой губой;

на другом конце его
море Аральское, —
небосвод всегда голубой.

А с коромысла,
каплями струи свивая,
водные нити стекают висеть;
это — реки:
река Чусовая,
Белая,
Сосьва,
Печора,
Исеть.

А над водою —
каменных круч оскал,
каменных волн
остановившийся вал,
перед которыми
был человек
так мал,
что и голов даже
к ним не поднимал.

Но если
горы растут,
а реки текут, —
то человека
смелые мысли влекут.
Выше гор
и шире шумящих рек
хочет
хозяином мира
стать человек.

И вот — породы,
залегшие в недрах
земных глубин.
И вот — народы,
задумавшиеся
о корнях своих судьбин.

Породы недра
и народа недра
пришли на помощь
друг другу щедро.

3

Века в России
металла
на полный ход
не хватало.
Стояла
деревянная
да избяная Русь;
хватала
за сердце
бескрайных просторов
грусть.
Плыла над страною
туманных столетий быль;
качал головою
сухой по степям ковыль.

Давно пробирался
к Уралу
простой народ;
ходил за пушниной туда
вольный Новгород;
сюда —
от татарского ига,
от царских цепей
бежала народная сила
с равнин и степей.

Жил лет двести назад
крестьянин Ерофей Марков,
жил — не ждал
от судьбы подарков.
Спал,
кулак под голову подстеля,

занимался
выработкой хрусталя.
Искал раз хрусталь
Ерофей Марков,
вдруг ему искра
сверкнула ярко:
в кварце зерна
как будто влитые —
искры желтые,
золотые.
Снес он находку
в Горную канцелярию,
бурю поднял
в канцелярии ярую.
Маркову учинили
строжайший допрос:
где нашел
да откуда принес?
Обернулось ему золото
потоком слез.
Смертною казнью
ему угрожали,
под крепкую стражу
его сажали.
Вытерпеть пришлось ему
горькие муки,
наконец выпустили его
на поруки:
иди, мол, золото
нам отыщи,
а не отыщешь —
с себя взыщи!
Двадцать лет искал
несчастный Ерофей Марков, —
из молодого
стал перестарком.
Двадцать лет
его смертная казнь
сторожила,
и наконец напал
на золотую жилу.

С той поры
пошла об Урале слава
как о сундуке
золотого сплава.
Но — пуще
силой своей полезной
стал славиться
этот сундук железный.
Пошел народ,
подпоясанный лыком,
рубить руду
еще при Петре Великом.
Пошел народ
на огненные работы;
пошли расти
по Уралу заводы.

Промышленник
Акинфий Демидов
построил башню,
великую видом.
В той башне,
выстроенной в Невьянске,
он рвал — тянул
непокорным связки.
Та башня,
встав из подземной теми,
часами стала
отсчитывать время.
На башне той
били часы, играли;
под башнею той
били людей, карали.
И много людей,
навек успокоясь,
легло костьми
под каменный пояс.
И кровь людская,
точно рубины,
насытила
земные глубины.

Вот так сложились
уральские были;
вот так в Урал
люди сердце врубили.
И стало сердце его —
кумачово
еще с восстания
Пугачева.

4

За двести лет
не стало видать —
так срыли ее —
горы Благодать.
А четверть века
советской поры
поднялись
выше любой горы.
Черный металл,
цветной металл
горы Урала
насквозь пропитал.
Шестнадцатый съезд,
Семнадцатый съезд
подняли его
с належанных мест.

Лежали руды —
змеевики,
пришли к ним люди —
большевики.
Сказали люди
глубоким рудам:
давайте крепче
дружиться будем!
И стало слово их
доводом веским —
комбинатом
Урало-Кузнецким.

Далеко видная
отныне стала
гора Магнитная,
гора металла.
Где прежде —
малая народу горстка,
там — грохот города
Магнитогорска.
Огни веселые
струят-змеятся
вокруг Челябинска,
вокруг Миасса.
И всюду в мире
стал видим наш
величественный
Уралмаш!

Война вломилась
в наши ворота —
в одно сплотилась
сила народа.
Врагу не сломить
лихою годиной
той силы,
слившейся воедино.
Враг прорывался
через преграды,
дошел до города
до Сталинграда,
но здесь, под городом
под Сталинградом,
пришлось попятиться
под стали градом.
Личина мерзкая,
броня стальная,
дрожи, фашистская
шкура дрянная!
Еще башку ты
не потеряла,
но морду жжет твою
огонь с Урала.

5

На Урале,
мощны и жарки,
новые топки
разожжены.
Новою сталью
отменной марки
армии наши
вооружены.

Новые топки,
новые домны,
новые залежи
рудных жил.
И — бесконечный,
безмерный,
огромный —
новый запас
человеческих сил!

С русским —
украинцы и белорусы
силы свои
приложили сюда.
Разноязыки,
народы берутся
единодушно
за дело труда.

Нет! Они родины
не утеряли,
не закатились
на запад их дни:
с новой энергией
на Урале
стержень победы
готовят они.

Мощь их —
в горниле войны

не растаяла,
голос их —
в пушечном громе
не стих:
вон — на Тагиле —
Иван Завертайло
один работает
за тридцатерых!

Вон, — своих сил
не щадя,
не жалея,
завтра превысив,
что дали вчера, —
встал Сидоровский,
Базетов,
Валеев,
встали первейшие
мастера!

Не перечтешь
их числа по пальцам,
не перечислишь
по номерам.
Слава уральцам,
слава уральцам,
слава уральцам,
богатырям!

Ими гордится
не только Урал,
светится сила их,
как самоцветы,
и отливается —
в танки металл,
воля их —
в общую жажду победы!

Летит алюминий
по небесам,
в атаку идут
ферросплавы.

И все это добыл
и выделал сам
народ наш
из огненной лавы.

Мы сами достали
руду из земли,
и сами металл перелили,
и сами, своими руками,
в станки мудреные закрепили.

И стала страна наша
волей горда.
Фашистам — горячей от жара.
И села подтягивают
и города
суровым словам сталевара:

«Лети, мой металл,
свети, мой металл,
не меркни
ни в холод, ни в жар,
чтоб каждый сказал:
«Хороший металл,
спасибо тебе,
сталевар!»

Расти, наш Урал,
грозовой арсенал,
искусством
промыслов разных,
и будет у нас,
как воин сказал:
«На нашей
улице
праздник!»

1942—1943

Пламя победы

Вступление

Когда мы,
от нечисти землю очистив,
за прутья стальные
загоним фашистов
и сверху, —
чтоб издали видеть, —
отметим:
«Не подходить
престарелым и детям!»

Тогда,
залечив и застроив руины,
подымутся
все города Украины:
опрятен — Пирятин,
и Нежин — оснежен,
и снова доступны
Мерефа и Лубны;
и вот паровоз
станет бодро пофыркивать,
когда через изгородь
выглянет Миргород.

У Гоголя есть
«Страшная месть»;

здесь начата,
но не кончена здесь.
Послушайте струн
перебор серебристый
и жалобный голос
слепца-бандуриста:
«За пана Степана
Седмиградского
жило два казака,
Иван да Петро...»

За труп одного ребенка
Карпаты
дугой изогнулись,
седы и горбаты, —
что сделать
за тысячи судорог детских —
польских,
чехословацких,
советских?!

Встань, казак,
на коне над долиной, —
протянись,
рука исполина!
Вздыбьтесь кверху,
иззябшие кости, —
взвив предателя,
в пропасть сбросьте!
Чтоб проходящим
помнилось летам —
кто поле засеял
серым скелетом!
Чтоб на века
не забыть потомкам —
кто реки
кровавым
окрасил потоком!

Я знаю,
жизнь иная настанет:

отрадно представить
во всей красе,
как над Москвой
взовьется блистанье
за каждой заставой
цветным шоссе.

Но время
не выстудит этого пыла,
прожегшего сердце столетья
насквозь.
Давайте припомнимте,
как это было,
как в наших душах
отозвалось.

Была жизнь

Была жизнь
прекраснее летнего вечера;
ясноглаза,
светлолоба
прелестью облика человечьего, —
гляди на нее
да любуйся в оба!

Была жизнь
прочна и богата:
с затылка до пят
золотой водопад
без примеси суррогата.

Были матчи
футбольные яростные,
брали кубки
братья Старостины,
отбивал «Спартак»
сотни атак
и вклеивал мяч

в чужие ворота
на радость
болельщицкого народа.

Козловского голос
был нежен и сладок,
поклонницами
овладевал
припадок;
нежнейшие ноты
выструивал Ойстрах;
витрины лоснились
в материях пестрых.

Бывало,
весь мир
удивится и ахнет, —
таких подбирали
гроссмейстеров шахмат;
жгучий спор
раздирал противников:
Ботвиннику — Флор
или Флор — у Ботвинника.

Бойченко ставил
рекорды брассом...
Вся жизнь простиралась
чудесным рассказом,
которому
конца не найти,
и все впереди!

Женщины,
словно мухи на мед,
липли к вывескам
«Ателье мод»;
и, не боясь
погоды студеной,
ребята вламывались
в стадионы.

Вы скажете:
что́ этих радостей праздничных
горстка
перед блеском
Кузнецка
и Магнитогорска?
Но радости эти
живили нам чувства,
нам жить помогали
и спорт
и искусство.

Мы ростом добычи
взрослели в металле,
мы Северный полюс
перелетали,
мы Волгу с Москвой,
обменявшихся грузами,
связали удобными,
прочными узами,
мы нормы работ
переметили заново,
осмысливши труд
по примеру Стаханова.

Тяжелый состав
убыстренно пронесся,
ведомый
искусной рукой Кривоноса.
И знатность людей
утверждалась по праву
труда,
приносившего
гордость и славу.

Страна, вдохновленная
партией Ленина.
Могучесть партийного
окрыления.
Великая слава
везде о нас катится.

Ученые наши
Иоффе и Капица.
А как бескорыстно
нас тешил и радовал
успех математика
Виноградова!

Советские люди
сжились и сдружились,
страна их отметила
и подняла;
читать,
и летать,
и мечтать научились,
повсюду мечты
превращая в дела.

Конечно,
не все было ровно
и гладко,
кой-где и рубец
намечался
и складка,
кой-где и топорщит
брови морщина,
но — всюду дыханье
живого почина.

Конечно,
не все удавалось вначале,
кой-где и, ворча,
головою качали,
но новое семя
и новое племя
ростками острело,
пробившись сквозь время.

Года проходили,
друг друга минуя,
сменяла уборочная
посевную,

весне уступали
снега и метели.
колхозы обстраивались
и богатели;
уж им становились
привычны и любы
конюшни, комбайны,
концерты и клубы.

Не тот —
с вековечным гайтаном на ребрах, —
иной восставал
человеческий облик,
еще не описанный,
не воспетый,
сегодняшней жизнью
рожденный —
вот этой!

Жизнь —
гуще сада плодового,
мичуринским яблоком
из-под листка,
зелеными запахами
заколдовывала, —
так далека от нас
и так нам
близка!

Вторжение

Как саранча
на цветущие ветви,
налетели
насильники эти;
люди без слова,
лица без чести —
все, что есть злого,
сплавилось вместе;

все нелюдское в них,
незнакомое:
может, действительно,
насекомые?!

Обглодано лето
и зелень примята
в треск мотоциклов
и в дрожь автоматов;
смотровые щели
презрительно узки,
зрачки на прицеле,
и пальцы на спуске.

Железным напором,
бездушным парадом —
по нашим просторам,
по свежим прохладам
двигалась танков
сила тупая...
Наши отстреливались,
отступая.
Смертельной механики
призрак зловещий —
вонзались их клинья
и ширились клещи.

Холодным расчетом,
бездушным парадом,
как бы выдыхая
бензиновым чадом,
спортивной походкой,
загаром на теле
они
на колени швырнуть нас
хотели.
Но мы, изловчась
из последних усилий,
их клещи
зубами перекусили!

И, сами влачась
по кровавому следу,
пошли отвоевывать
нашу победу.

Но — раньше,
чем это сбылось и случилось, —
сто солнц закатилось
в дыму и в пыли,
сто раз потемнело
и омрачилось
лицо оскорбленной
советской земли!

Оставлен Смоленск,
Житомир,
Винница...
От тела враг
отрывал по куску,
еще немного —
и он придвинется
под самое сердце страны —
под Москву!

Уже он над Брянском навис,
над Тулой,
уже в Калинин
вполз, тупорыл;
везде — автоматов
угрюмые дула,
везде — «мессершмитье»
шуршание крыл

В тот год
урожай созревал
небывалый:
ломили плечи
хлеба обвалы;
а в поле народа
все меньше да меньше, —
видать одних
ребятишек да женщин,

К чему повторять
неприятеля зверства, —
достаточно это
из сводок известно,
но это
неслыханное злодейство
забыть не старайся,
простить не надейся.

Я видел —
и сердце сжималось от боли,
как колос,
сгорая,
безмолвствовал в поле;
как сироты-копны
чернели рядами,
не вставши,
не выросши
в небо скирдами.

Напрасно на помощь,
объятья раскинув,
спешили к ним
жители городские.
Вся сила полей
поднималась стеною —
и жатки ломались
под их гущиною.

Что сделаешь здесь
без привычной сноровки?
И пальцы не хватки,
и взмахи не ловки;
как ни нагибались
и как ни старались, —
зерно оплывало,
поля осыпались.

Что сделают здесь
старики да старухи?
Где нужные в срок,

позарез,
нарасхват
умелые, сильные, ловкие руки?
Они — на фронтах!
Под ударом — Москва.

Москва под ударом!
И малым и старым
тревога и гнев
обжигают сердца,
лишь весть пролетела:
«Москва под ударом!» —
приспело нам время
стоять до конца.

По волжским белянам
по камским бударам,
на юг и на север,
в закат и в рассвет
страна всколыхнулась:
«Москва под ударом!
Вставайте,
спешите,
идите к Москве!»

По русским,
грузинам,
казахам,
татарам —
взметнулось,
как яркое пламя в костре:
«Москва под ударом!
Москва под ударом!
На помощь,
на выручку
старшей сестре!»

Холодною сталью,
змеиной дугою
ее окружает
безжалостный враг.

«Скорее!
Не станет столица слугою!
Нельзя отступить от нее
ни на шаг!»

Чье чудо?

Казалось,
что все было кончено...
Мокли
поля сражений,
от крови устав.
Уже наблюдали
немцы в бинокли
железный холод
московских застав.

Город — страны основа —
встал на семи холмах,
бренность всего земного
провозвещая в умах.
Город — земли опора,
воли народной стан, —
о, неужели скоро
будет врагу он сдан?
Каменными шатрами
рухнет, теряя след,
высвистанный ветрами,
пустошью страшных лет.

Жил Рим, горд, —
первым считался на свете;
стал лавр стерт
зубом столетий.
Был Карфаген, Сиракузы, Фивы —
сонмы людских существ, —
мир многоликий, пестрый, шумливый
стерся с земли,
исчез...

Что же?
И нам пропадать,
пав победителям в ноги?
Нет!
Это — вражьим глазам не видать
в будущее дороги.

Такими, —
врага не прося о милости, —
на смертный рубеж
вышли панфиловцы.
Что двигало ими?
Выгода? Слава?
Чем были сердца их
воспламенены?
Они были люди
Советской державы,
они были дети
великой страны.

И сердце ее
продолжало биться,
горячую, гневную
кипень гоня,
и с ходу
бросались в атаку сибирцы,
сквозь скрежет стали,
в развалы огня!..

И все же
Москве было очень худо,
и хмуро на запад
глядели все:
казалось,
безумье идет оттуда —
от Ленинградского шоссе.

Что же тому дивиться?
В небе все та ж звезда.
Так же Москва-орлица
страждала у гнезда.

Так же —
у Крымского вала,
у десяти застав —
грозно она стояла,
крылья свои распластав.
Видела орды Батыя,
слышала чуждую речь,
маковки золотые
не пожалела сжечь.
Тяжести страшной груда
вбила сердце в тоску;
думалось — только чудо
может спасти Москву!

И чудо это случилось!
Памятное число —
лучиком залучилось,
краешком солнца взошло;
ветром времен раздуло
пламя из-под золы:
танками из-под Тулы,
залпами из-за мглы!

Это — с Верхнего Уфалея.
Кировграда, Тагила, Кушвы
поднимаются люди,
болея
и заботясь о судьбах
Москвы.

Это — с рек Иртыша и Урала,
общей участью
объединена,
очи зоркие в темень вперяла —
в подмосковные дали
страна.

Это — чудо
сплоченного люда,
всколыхнувшего
море штыков;

это — чудо
бессонного зуда
подающих снаряды
станков.

Это — чудо
посеянных всходов,
неусыпных трудов и забот;
чудо новых, могучих заводов,
переброшенных за хребет.

Это — нового племени
сила,
негасимого пламени
страсть, —
все, что выплавила
и взрастила
в четверть века
Советская власть.

И вот я молчанье
песней нарушу,
сложив и припомнив
мазок к мазку
про все, что тогда
волновало душу, —
про новых —
великих времен
Москву.

Не к праху лет,
не к древней были
я воззову...
И вот уж
мнут бронемобили
пути в Москву;
и вот уж мчит мотопехота,
врага врасплох
сбивая влет,
стреляя с хода,
сметая с ног.

Не в мох обросшею руиной,
не стариной, —
Москва встает
среди равнины
живой стеной.
В старинных былях
не ищите:
подобья нет, —
вся юность на ее защите,
вся свежесть лет!

Она,
из каменных пеленок
повырастав,
с Наполеона опаленных
своих застав,
косою плеч своих саженью,
вскрутив снега,
в еще не виданном сраженье
крушит врага.

Артиллеристы
здесь не редкость,
их тесен ряд:
настойчивость,
упорство,
меткость,
скулы квадрат;
и рослых летчиков отряды —
стране родня;
и это — ширь ее ограды
и мощь огня.

Замаскированные в ветки, —
как лес застыл! —
ждут сообщения разведки
про вражий тыл,
потом, нащупав
вражьи точки,
накроют цель —
и дуб сронил

свои листочки,
а иглы — ель!..

Давно разделали саперы
крутой овраг,
куда, не чувствуя опоры,
сползает враг.
И утро вспыхнет спозаранку
дыханьем мин,
а сверху — бомбы,
с флангов — танки,
и выбит клин!

Такой Москва
стоит повсюду
на сотни верст.
И валит враг
за грудой груду
из трупов мост.
Но вражье зверство
и свирепость —
обречены.
Москва —
неслыханная крепость
живой стены!

Фронты
на тысячи верст

Была ль то осень,
или зима, —
все нынче спуталось в памяти;
казалось,
что время сошло с ума
в своей тарабарской
грамоте.

Я друга давнишнего потерял,
из верных
верного самого, —

ушел в ополчение
и пропал, —
поэта Петра Незнамова.
А сколько
таких же —
незнамых —
ушло,
неведомых
сколько пропало?
Таких же
и по сие число
забытых Петров и Павлов.

Они собрались
сегодня в кружок,
сосед наклонился к соседу,
и я подойду к ним
на мокрый лужок
беззвучно слушать
беседу:

«Привыкшие
к утратам и потерям,
мы больше
синеве небес
не верим!
Когда над фронтом
катится звезда, —
ждешь грохота
в конце ее следа.
На небе — месяц,
молодой и прыткий,
глазеет вниз, —
еще не сбит зениткой.
Туман,
встающий молча из-за леса,
окутывает дымовой завесой,
и на лугу,
где сладко млеет сено,
приходит мысль
о запахе фосгена.

Пожарищем,
плывущим из-за хат,
дымит восток
и плавится закат.
Ряды кустов,
знакомые веками,
загримированы грузовиками.
Клин журавлей летит:
точь-в-точь —
пад рощей
к бомбардировщику
бомбардировщик.
И тополя,
темны и молчаливы,
встают вдали,
напоминая взрывы.
Притворно все...
И на лесной опушке
поют обманным голосом
кукушки».

Сидят партизаны
в лесной стороне,
жуют партизаны
сухарь при огне.
Дымками чуть дышит
родное село,
снегами по крыши
его замело.
Ветер, дик и груб,
клонит дым у труб,
гонит, пригибает,
рвет за клубом клуб.
Над трубою дымы —
хата не пуста...
Страшны, нелюдимы
гиблые места.
Улица села
выжжена дотла,
словно все живое
вымела метла.

Ходит часовой
с «мертвой головой».
Вьюга запевает
нотой басовой.
Чудится ему:
в снеговом дыму
призраки мелькают
сквозь метель и тьму.

Пособи, зима,
посуди сама:
шаг врага попутай,
посводи с ума!
Чисты, непримяты
свежие снега.
Стынут автоматы
в пальцах у врага.
Снега целина,
вьюги пелена,
рухнув, вновь взмывает
воздуха стена.
У врагов в тылу
сквозь буран и мглу
сводные отряды
движутся к селу.
Помоги, пурга,
разгромить врага,
чтобы подкосилась
хищников нога.
Стужа их дерет,
ужас их берет,
ходят, автоматы
выставив вперед.
Не мешай, метель,
нам наметить цель,
чтоб упал захватчик
в мерзлую постель,
чтоб упал-уснул
под метели гул,
под прямой наводкой
партизанских дул.

Орды фашистскпе,
дики и пьяны,
вторглись в ворота
Ясной Поляны.
Что им Толстой?
Звук лишь пустой!..
Вторглись шакалы
ко Льву на постой.
Все испоганили,
все истребили,
книги пожгли
и деревья срубили:
пусть, дескать, в пепел
испепелятся
самые мысли
яснополянца!

Но со страниц
его книг обожженных —
сотни героев
вооруженных.
Из-за дерев,
подсеченных под корень,
вышел бессмертный народ,
непокорен!
Вот — человечен
и простодушен —
встал со своей носогрелочкой
Тушин.
Вот — невидимка —
Тихон Щербатый
где-то окапывается
лопатой.
Вот — красноликий,
бросающий вызов —
вражьим тылам
угрожает Денисов.
И — егеря
за Багратионом
рвутся в атаку
всем батальоном.

Вот —
остальных многоопытней,
старше,
шрамом отмеченный —
славный фельдмаршал...
Цепи обходные,
сторожевые...
Нет! То — не тени,
то — люди живые!

Вот сам хозяин,
обеспокоясь,
вышел,
засунувши руку за пояс:
грозное что-то
в движении этом,
в дымах,
поднявшихся над портретом.
Взор — на врага он,
брови нахмуря, —
в тульских лесах
подымается буря.
Люди, с ним схожие,
грозны и хмуры,
знают, как с хищников
сдергивать шкуры!
Тех дедов внуки
встали стеной,
все тот же твердый
народ коренной.
Все тот же, кто ясен был
взору Толстого, —
в поход подпоясан
без шума пустого.

Из самых глухих
лесных уголков
враг метится пулей
и пальцем штыков.
Нацисты,
теряя кровавые пятна,

скулили,
притворно возмущены:
«Мы русских разбили,
а им — непонятно:
они продолжают
затяжку войны».

Не нам — а им
непонятно,
как заново
крепчало оружие
партизаново;
как, в опыте долгих сражений
освоено,
взрослело мужество
нашего воина;
как, — все претерпев
и все одолев, —
поднялся народа
праведный гнев!

Хищные звери
с разумом темным,
Гитлер и Геринг,
мы вам припомним!
Жизнь превратившие
в сумрачный вечер,
лязг ваших армий —
не вечен, не вечен!
Куда б ваши танки
ни забежали, —
мы путь перережем им
рек рубежами;
куда б ни залетывать
вашим пилотам, —
станут их кости
гнить по болотам!
Вы к нам прокрались, —
столбы наших крылец
выше порогов
кровью покрылись;

мы опрокинем вас, —
кровь ваша — выше,
выше стропил
заструится по крышам!

Врагу,
в наши домы
посмевшему влезть, —
месть, месть, месть!
Врагу, оскорбившему
нашу честь, —
месть!

Что в мире отныне
священнее есть?
Месть, месть, месть!
Пять чувств у нас было,
отныне — шесть:
шестому названье —
месть!

Пусть слуху желанна
единая весть:
месть, месть, месть!
Пусть вспыхнет на стенах,
чтоб глаз не отвесть,
огромными буквами:
месть!

Врагу, разорившему
столько семейств, —
месть, месть, месть!
Ему не исчислить
и не учесть
неутолимую
месть!

На вражье коварство,
на хитрость,
на лесть —
месть, месть, месть!

Пять чувств у нас было,
да будет шесть:
шестому названье —
мéсть!..

«За нами земли больше нету!»

Когда бандит
забирается в дом,
зажав в кулачище
гирю литую,
свалив свою жертву, —
зачем он потом
еще бесчинствует
и лютует?

Сначала он
упоен удачей;
он руки моет
в горячей крови;
ни слезы женщин,
ни крик ребячий
его не могут
остановить.

Со всем живым
находясь в войне,
он полон угрюмого,
злого задора;
он даже доволен
и счастлив вполне
своей профессией
живодера.

Но вот тишиной
наполняется дом...
Чего ж еще пуще
и злей он лютует?

Он сам себя видит
перед судом
и сам себе приговор
грозный диктует

Он в зеркала глянул
разбитый осколок
и смертный почувствовал
приступ тоски,
и сизым морозом
нещадный холод,
его ухватив,
потянул за виски.

И вдвое зверея,
громя и круша,
мозжит он,
хоть кровь уже
лужами рдеет;
он злобно бессмыслен,
его душа
сама собой уже
не владеет.

Пора бы пуститься
давно наутек,
но поздно:
за край далеко
зашел он!
Подошвы окрашены
в крови поток,
и вкус ее
на языке его солон.

Облава уже
оцепила квартал,
и — мнится —
не выйти
из грозного круга,
и жалко расстаться
с тем, что понахватал,

со всем, что в узлы
наувязывал туго.

Вот так
у излучины Волги,
у локтя великой реки, —
разбилась вода
на осколки,
как зеркало на куски!

И он заглянул
в ее ледяную,
в ее оскорбленную,
грозную гладь,
почувствовав волю
иную,
стальную,
с которой нахрапом
не совладать.

Там, где Волга
сближается с Доном, —
со старшей сестрой
разлученный брат, —
земля надрывалась
пушечным стоном:
враги наседали
на Сталинград.

И Дон возмутился
до пенного блеска,
такого не видя
с седой старины.
Враг долго задерживался
у Клетской,
отбитый огнем
с низовой стороны.

И наконец,
не считаясь с уроном,
под лай минометов
и бомбовый вой

навел переправы
над синим Доном
и вышел
к жиле страны
становой.

Как будто
на древней реке Каяле,
против насилия и грабежа,
вот так же,
насмерть,
люди стояли
защитой берега —
рубежа.

Дивизия «Викинг»,
дивизия «Зигфрид»,
дракона фашистского чешуя, —
то залпами вспыхнет,
то зарево взвихрит,
колючие кольца
клубя и змея.

О, эти кровавые
облака,
багровая от разрывов
река,
и в мины засеянные
поля,
и толом разодранная
земля!
И губ нерасторгнутая
черта,
и горе,
залегшее складкой у рта.

И вдруг это слово —
ракетой
раскрывшее небо опять:
«За нами
земли больше — нету!

Нам — некуда
отступать!»

И посреди
сталинградских развалин
стал человек,
как из стали изваян.
Что он продумал
за дни за эти, —
сложный,
большой
коллективный ум?
Не было выше
нигде на свете
этих простых
человечьих дум.

Пусть не в одной
обстановке военной
смысл этих дум,
возвышаясь,
живет.
Вот этой тайны души
сокровенной —
вольный,
но тщательный перевод:

«Большой человек
стоит на большой горе,
маленький —
на своем холме;
он, точно суслик из норки,
видит свои опорки
на своей
маленькой горке —
маленьком своем уме.

Большой человек
думает обо всей земле,
маленький —
лишь о своей семье;

считанная родня его
не велика,
с ней он не просуществует
века.

Но если народ поднимается
в полный рост,
и волосы его
касаются звезд,
и руки его
распростираются вширь,
то даже и в маленьком сердце
растет богатырь.

Тут его сердца
не задевай, не тронь,
все свое будущее
он кладет на ладонь,
все мелочные страсти
над ним не имеют власти,
он их бросил с размаху
под общий котел
в огонь.

Нынче мы все
стали большими людьми,
в сердце у каждого
больше стало любви,
больше стало у каждого
ненависти к врагу,
жить нам мешающему
на каждом шагу.

Враг стремится
наши сломить тела,
но ему
не уничтожить наши дела;
наши тела — из плоти,
наши сердца — в заботе,
но не пропасть
свободе,
которая нас вела!»

Еще придет время

Еще время придет
описаньям дивиться
ленинградских,
одесских,
севастопольских дней.
Их трагедии
ярче дадут очевидцы,
их свидетельства
будут точней
и полней.

Но сейчас,
когда столько событий
толпится
у дверей
и переступает порог, —
как нам нынче приходится
торопиться,
чтобы выполнить
времени
срочный урок!

Какие раны,
какие раны
на чистом,
могучем
теле страны!
Враги рвались,
в разрушении рьяны,
бешеной ненавистью полны.

Они счищали,
как снег с земли, нас,
но снег сжимался
в лед —
под ребром;
распивочно и на вынос
они торговали
нашим добром.

Чужое ж добро
рассыпается прахом
и впрок не идет
тупым наглецам;
а лед
примерзает
не только к рубахам —
смертельным холодом
липнет
к сердцам...

Ты, Севастополь,
и ты, Одесса,
вы, Харьков и Киев,
Курск и Ростов, —
еще вы сумеете
приодеться
в стальные ткани
домов и мостов.
Все, что разрушено
и разгромлено,
сожжено, увезено, —
все будет сосчитано
и установлено,
кирпич в кирпич
и зерно в зерно.

И вы, наши северные праотцы,
древние Новгород и Псков, —
придет пора
и за вас расправиться
со сворами
вас истерзавших псов.
Пускай только выбоины
да ямушки
остались от вас, —
все равно
мы все восстановим
по камешку,
венец к венцу
и к бревну бревно.

И вы, бесчисленные селенья,
заживо выжженные дворы, —
придет и к вам
пора искупленья
врагом обездоленной
детворы.
Где ныне
одни обгорелые печи,
дичая,
в глухой обрастают лопух,
поднимется новая
жизнь человечья,
зажжется огонь,
который потух.

А пока
осквернена и поругана
земля наша
ихней ухмылкой тупой, —
ненависть наша
сталью застругана,
боль нашу
одухотворяет —
бой!
За боем бой,
за схваткой схватка:
и нам не мед,
но и им не сладко!

Я не признаю
описаний разных
о легкой победе
под энским селом;
по-моему,
битва — это не праздник,
а стих — не молебен
и не псалом.
Каждое выигранное
сраженье —
это бойцов
поределых ряды,

это предельное
напряженье
тела и духа,
земли и воды.

Спросите об этом
лицо любое,
только что выдержавшее
тяжесть боя:
«Что было на поле боя?
Как было на поле боя?» —
«Не помню,
не помню,
не знаю!»

Там небо,
должно быть, рябое,
забыв, что оно голубое.
Там буря сквозная!
Там люди —
по крови не братья,
лишь свойственники
по ране...
И летчик,
снаряды истратя,
сам мчится снарядом,
тараня.
Там кровь капитана Гастелло
чертой непогасшей,
падучей звездой
загустела
на памяти нашей.
Там люди,
в гранаты обвесясь,
бросались, себя не жалея,
в последний —
взглянувши на месяц, —
и танки корежились, тлея.
Там волны взрывные
катились,
как волны морские,

и в воздухе плыл пехотинец,
широкие руки раскинув.
И наглостью ложного света
все то, что душа не прощала, —
с небес
подвесная ракета
вокруг освещала.

Так было от моря до моря
на поле великом.
Там было и счастье и горе
в величии диком.
Так было повсюду, повсюду,
а где — неизвестно.
Там было и благу и худу
просторное место!

Разговор материков без взаимных резкостей

Хорошо
в Соединенных Штатах,
если есть
хоть маленький
достаток,
если есть
хоть маленький
избыток,
если нет
надежд и душ
разбитых.

Хорошо прожить вдвоем
в тихом домике
своем:
горячо трещит
печурка
переливчатым огнем,
хорошо поет
пичужка

в желтой клетке
над окном.

Ну, а если вдруг
достатка — нету,
где тогда искать
уют по свету?

Я к тому обращусь,
кто нуждою задет:
мы вместе состарились,
поседев;
вы знаете граждан
своих,
я — своих;
давайте о судьбах
подумаем их.

Наши граждане
широкогруды:
рубят срубы
и роют руды;
труд им люб
и в лесу и в поле, —
наша сила
и наша воля.

Люди наши
миролюбивы:
рек и глаз
широки разливы;
если ж их
глубину затронешь, —
отойди,
захлестнет,
утонешь.

Я видал
рыбаков на Каме:
борода у них
завитками,

прорумянена
в зорях кожа,
говорят они
гулко и гоже,
называют себя
деда́ми,
а таскают рыбу
пудами.

Я глядел
горняков Урала:
люди —
вечного материала,
и в тайге
и в приморских сопках
нет ни слабых
меж них,
ни робких.

С севера —
Новгородское вече,
с юга —
круг Запорожской сечи.
Где б нас ветром
ни заносило, —
наша воля
и наша сила!

Если нас
обожжет обида,
промолчим,
не покажем вида,
под ярмо
головы не клоним,
перед петлей
стоим — не стонем!

Если ж сердце
обманут грубо,
сплавим руды
и спалим срубы,

шапку сымем
и кинем оземь,
все оставим
и все забросим!
Нам тогда
все равно — убыток,
в бой пошли —
не считай убитых!

Ваш материк
от нас удаленный;
встанет приехавший,
удивленный,
встанет —
вскружится ум,
как пьяный:
что за народ такой
заокеанный?!

Ваших граждан
свободен навык:
чисты в чувствах
и тверды в нравах,
ходят прямо
и смотрят смело,
ценят время
и знают дело.

Век прошел
и еще полвека,
утвержденных
прав человека.
Но не сразу ж
утихли бури
на Гудзоне
и на Миссури!

Голос пушек
гремел об этом
над неведомым
Новым Светом;

были брошены
пашня с плугом:
дрались яростно
Север с Югом.

Первой стала
свинцом пронзаться
плодородная
ширь Канзаса.
Двое встретятся:
«Юг или Север?!» —
Оба слягут
в смертном посеве.

После посыпались
пули градом,
рея над генералом
Грантом.
Рабовладельцы
крепят подпруги,
Ли собирает
полки на Юге.

Плохо вначале
пришлось северянам:
нету и счету
потерям и ранам;
видно, придется
им жить по старинке:
станут все штаты —
невольничьи рынки.

Но — собираются
новые силы,
но укрепляются
павших могилы.
Нет! Не положат
свободе запрету,
нет, не померкнуть
Новому Свету!

Стоны и выстрелы,
топот и ржанье, —
жадные — сброшены
с седел южане.
Томас и Шерман
и Мид с Шериданом
гонят их вспять
по векам, по преданьям.

Плен их,
отброшенных и помятых,
ждет при селении
Аппома́ттокс.
И засинела
воздухом вольным
даль над Авраамом
Линкольном!

С той поры
эта песня грозна врагам:
«Мы идем за тобою,
отец Авраам!»
Светлеют лица
при этом имени,
сплочаясь
в вольнолюбивом гимне.

Годы прошли,
обгоняя годы, —
а в памяти жив
поборник свободы.

Продолжение разговора двух материков без взаимных резких слов

Народ выбирает
вождей —
по нраву:
он им свою честь доверяет
и славу;

но — те лишь в веках
остаются живы,
чьи помыслы чисты
и чувства не лживы.

Мы — видите —
также деремся
упрямо.
Насилью над миром
найдется управа.
Мы жизнь отдадим свою,
головы сложим,
но — рабству и зверству
не станем подножьем.

Как ни различны
наши наречья, —
цель у нас общая:
жизнь человечья.

Не только же польза
взаимной выгоды, —
найдутся и чувства
общие выводы;
не только точность
сухого расчета, —
в сердцах отмечено
вечное что-то.

Наши шаги
и ваши шаги
равно хотят
уничтожить враги;
наши следы
и ваши следы
близко сошлись
у великой воды.

Север,
пеной седой
повитый;

нелюдим
океан Ледовитый.
Разделяла нас
ночь
друг с другом;
беден свет
за Полярным кругом.
Тень —
туманом тяжелостенным
между Номом
и Уэленом.

От нашего берега
к вашему берегу
волны колышут
фамилию Беринга,
и, льдов вековечных
молчанье раскалывая,
связала нас в чувствах
стремительность Чкалова.

Пусть воздух меж нами
так станет прозрачен, —
чтоб помысел каждый
был в нем обозначен,
чтоб отчужденность
и недоверье
исчезли навек
за распахнутой дверью.

Наши шаги
и ваши шаги
хотят заодно
уничтожить враги;
наши следы
и ваши следы
близко сошлись
у великой воды;
наши народы
и ваши народы

одной —
свободолюбивой —
породы!

Ваших битв отдаленных
топот
стал примером
служить Европе.
Вставали ораторы,
в яростном споре
громили противников
с гневом во взоре;
вскипали на улицах
стычки и схватки;
устои столетние
сделались шатки.

Много было написано од
в честь самых разнообразных
свобод:
свобода собраний,
свобода решений,
свобода дерзаний,
свобода свершений.

О, как я слежу
за рождением слова,
которое сильно,
которое — ново!
Великая вещь —
человечья речь!
Иная —
голову снимет с плеч;
иная —
лучшим словам родня —
заставит выше ее поднять.

От метких речей,
от точных слов
подымутся
миллионы голов;

от верных слов,
от вечных речей
расправятся
миллионы плечей.

Пускай же не сгинет
под гнетом былого
великое, вещее, вечное слово;
оно, как ребенок
во тьме колыбельной,
качается
на волне корабельной;
оно не пропало
надеждой напрасной,
оно подтвердилось
на площади Красной.

Будто ладони
двух полушарий
соединила
мира душа;
будто друг другу
руки пожали
народы,
подвиги соверша.

Будь же незыблемо
это решенье
вместе
поднять
небывалый груз;
наша победа —
людей соглашенье,
переходящее
в вечный союз!

Чтоб любой человек,
работая,
не боялся
соседской вражды,

гарантированный
свободою
от отчаянья
и нужды.

Шествие победы

...Когда
Москва обвита серпантином
ежевечерних
цветных ракет;
когда партийным
и беспартийным
прямо в душу
глядит этот свет;
когда по затянутым
окнам квартирным
отражается
пламенный свет;
когда,
торжествуя
над ворогом лютым,
страна сыновей своих
славит салютом;
когда многозалповый
катится гром, —
все пережитое
кажется сном!

Но это не сон!
Вот эти страницы.
Не сон,
что, спиной повернувшись,
враги
давно откатились
за наши границы
с Кавказа,
и с Крыма,
и с Курской дуги.

Не сон,
что по шири
земного шара
шумит ожиданье:
«Когда же?
Скорей!
Когда же наступит
возмездия кара
злодеям
гестаповских лагерей?!»

За всех,
в затылок пулей сраженных,
за всех,
потерявших разум
от мук,
за газом отравленных,
за сожженных,
чьих криков был
за версты
слышен звук!

За горе неслышное
родственных душ их,
за выплаканные
глаза матерей,
за стоны,
зарытые в холод подушек, —
когда же,
когда же расплата?
Скорей!

Встанет день,
озаренный славой:
по любым океанам
плавай!
С Атлантическим —
Ледовитый
связан
дружбой людей
плодовитой;

на Индийском
или на Тихом —
не помянут нас люди
лихом.

Где б ты ни жил
и кто б ты ни был, —
над тобой
чтоб не гнулось
небо,
чтоб под сталью,
ревущей и режущей,
не стонали
бомбоубежища!

Чтоб людей
величавый рост, —
всем,
что дать человечество в силах, —
яркость ваших
и наших звезд
умножал бы,
а не гасил их!

День Победы

Граждане
Советского Союза!
Враг разбит,
растоптан в пыль и прах.
Пала с сердца
тяжкая обуза,
радость,
крылья ширь во весь размах!

Враг разбит,
растоптан в пыль и в щебень,
силой правды
смят и сокрушен.

Шорох трав,
веселый птичий щебет
больше
шумом битв не заглушен.

Настало желанное время
улыбок,
объятий,
встреч.
Страна опускает бремя
с могучих
широких плеч.

Распрями
свои гневные брови,
что свело
боевою грозой,
и утри свои очи
от дыма и крови
свежей зеленью,
утреннею росой.

И над каждым селеньем,
семьею,
избою,
и на каждой строке,
и на каждом станке
взвейся, песнь:
победительницей
из боя
вышла Родина
в свежем лавровом венке.

Остывайте,
жерла орудий,
разрежайся,
пороха дым:
ведь живые,
отважные люди
возвращаются
к милым своим.

Только взор их
острей и орлиней,
и задумчиво пристальней стал, —
тех,
кто насмерть сражался
в Берлине,
кто из Одера
воду черпал.

Распрямитесь же,
грозные брови,
и умойтесь
родною водой,
вы,
кто годы стоял наготове
между радостью
и бедой.

Над землею
родною,
сырою
встань на страже,
как огненный смерч,
знак победы,
оружье героя —
сталинградский
блистающий меч!

1941—1945

Поэма северных рек

Вступление

Чтобы даром силы не рассеивать
водному могучему потоку, —
говорят, что наши реки Севера
можно повернуть к юго-востоку;
их, чьи имена знакомы издавна —
Обь, Иртыш, и Енисей, и Лена, —
белыми буранами освистана
гребней их серебряная пена;
сказками затейными да пестрыми
слух об их богатстве перемножен;
долгими, немереными верстами
путь их нетревожимый проложен.

Есть проект: чтоб силы вод текучие,
изобилье драгоценной влаги,
перекинуть на пески сыпучие,
на сухие степи и овраги;
чтобы не безлюдной тундрой Севера
в океана прорву утекая,
а в моря пшеницы, хлопка, клевера
хлынула энергия такая;
чтобы Кара-Кумы опаленные,
где смуглеет саксаул без тени,
вырастили б сочные, зеленые
тысячи полезных нам растений;

чтоб не под туманами да льдинами
замирала сила рек отныне, —
чтобы двигать мощными турбинами,
вырастив промышленность в пустыне;
чтоб коврами цветовыми под ноги
розы расстелила нам пустыня...
Все это режим пространства водного
может сделать буднями простыми!

Это грандиозное строительство,
чей размах лишь в мыслях охвачу, —
нашему советскому правительству,
одному ему лишь по плечу.

Лишь в нашей стране
природа — в струне, —
мы повелеваем стихиями:
не вырвать из рук
поводья наук —
агробиологии, химии!

Где давнишним днем
Микула с конем
да с сошкой ходили в компании, —
колхозную ширь
народ-богатырь
проходит электрокомбайнами!

Гидролог, сюда,
где раньше вода
неслась беспризорною вольницей,
чтоб стал ее пыл
источником сил —
турбин электричеством молниться.

Мы тверды в словах,
мы честны в делах,
мы выполним все, что обещано;
нет места вражде —
в беде и в нужде
всегда мы поможем слабейшему.

Пусть атом, взорлив,
в сто солнц озарив
времен беспримерную практику, —
в поля и луга,
в скирды и в стога
оденет ожившую Арктику.

Не сказка, не сон,
а верная весть:
снять боль человечества скрытую,
чтоб всюду — и хлеб,
и хлопок, и шерсть,
чтоб Азия сделалась сытою!

Реки потекут вспять

1

Пока — это только проекты...
Но я тебя нынче ж зову —
того, что не видывал век ты,
увидеть со мной наяву.
Давай с тобой вместе поедем,
полярьем озарены,
по рекам по дальним по этим —
в будущее страны.

Несите нас, древние воды,
принявши в свои берега,
сквозь леса суровые своды,
где сумрачно дышит тайга;
несите нас, реки, несите,
кружа из залива в залив,
кедровою шишкой насытя,
студеной водой напоив;
несите по Тавде и Конде,
к Тоболу и Иртышу,
поближе с собой познакомьте,
и я вас полней опишу;

несите по Сыне и Сосьве,
где нет ни путей, ни дорог,
туда, где кончаются сосны,
где только лишайник да мох;
несите по Сыму и Тыму,
по Кети, по сети по всей,
где глазом неукротимо
сверкает, сердясь, Енисей...

Глухие лесные угодья,
где свежие зверя следы,
великое многоводье,
огромная сила воды!
Но — сила волны человечьей
сильнее всех волн и стихий!..
И вот — небывалые вещи
вступают сегодня в стихи.

2

Стояло село Белогорье,
где к Оби прихлынул Иртыш.
Бывало, и счастье и горе
катилось над гребнями крыш;
бывало, и солнце и тучи
сменялись, и сумрак и свет;
но этой грозы неминучей
ни в сказках, ни в присказках нет.
И деды того не слыхали,
чтоб реку — обратно вернуть,
чтоб ей изменить при начале
веков обозначенный путь!
«Да что ж это будет такое?
Откуда ж такая беда?!»
«Ведь с трубами всех нас покроет,
поднявшись, большая вода!»
Хозяйка, не ахай, постой-ка,
в слезах на узлы не ложись —
взгляни-ка, где новая стройка,
где светится новая жизнь.

Не все ж только лодка, да сети,
да рыбье бессловье села:
ведь есть же другие на свете
большие, не рыбьи дела!
Не все ж только куры да овцы,
твои чугуны да дежа...
Где влаги ни капельки вовсе —
пускай она хлынет, свежа!
Где рыжие тощие степи
взяты суховеем в тиски,
где вихорь, вздымая, как цепи,
влачит по пустыне пески, —
по этой по самой пустыне,
где зелени нету следа,
пускай она, матушка, хлынет —
прохладная влага-вода!
«И деды того не слыхали!..»
А кто они деды, скажи,
зашедшие при начале
за водные рубежи?!

3

Словно облачным мукосеем
запорошена вдоль и вширь,
между Обью и Енисеем
стынет Западная Сибирь.

День был бледен, и край безлюден,
если глянуть издалека, —
путь опасен в нее и труден:
за рекой на пути река.

Но давно уж сказано было,
а что сказано, то не скрыть:
что Сибирь — золотая жила,
только трудно ее добыть.

Золотые здесь урожаи,
хоть и нет земли запашной;

что ни год, в цене дорожая,
процветает промысл пушной.

В старину сюда шли за зверем,
белой тундрой, сырой тайгой;
потревожив медвежий терем,
обходили его дугой.

Осетры здесь икру метали,
лебедей сбивала стрела;
соболями казну считали,
что Москва отсюда брала.

Куньи шубы, горласты шапки,
всех пышнее и выше всех;
у красавицы ножки зябки —
подстели ей дорожкой мех!

Огневеют, цветут, голубеют,
во все света пройдя концы,
молодят, украшают, греют
соболя, бобры да песцы.

Словно облачным мукосеем
запорошена вдоль и вширь,
между Обью и Енисеем
стынет Западная Сибирь.

4

Впервые о ней летописец
вещал, облачась стариной,
что там, мол, где горы, возвысясь,
стоят неприступной стеной,
есть люди, — заклепаны в камень —
неведомое вопят,
и кличут, и машут руками,
и вырубиться хотят;
в оконце иссечено лезут,
с собой на сближенье зовут,

и кажут рукой на железо,
и шкур за секиры дают;
бесхитростны и безгласны,
не ведают полной цены,
на мирную мену согласны,
но злобны во время войны!

5

Были вогулы воистину
храбры и дико воинственны:
стрелами против пищалей
юрты свои защищали.

Жены их горько восплачутся
с запада гнущей грозе;
бьются мужья под началом Нахрачинских
многооленных князей.

Дети — до самых малых —
луком в пришельцев стрелили;
те же — из огненных палок
в беге оленя валили.

Реками, морем и волоком
шли непреклонно они;
с громким, как колокол, голосом
жгли над рекою огни.

Зорко по тундре глазея,
где соболя да песцы,
ставили мангазею
новогородцы-купцы.

Были совсем простаки
обские остяки.

Легче, чем огненным боем,
здешних людей покорить;
хитрым обманом, опоем
головы им одурить.

Год ты хоть целый за зверем
не выходи из тайги,
скажут: «Друг другу поверим!» —
и отберут за долги.

6

Новгород пал, а Москва поднялась,
власти своей границы расширя,
и потянулась московская власть
к Западной дальней Сибири.

Шли воеводы с полками,
ставили срубы в лесах,
в грудь непокорных толкали,
борзо сбирали ясак.

Плыли иеромонахи
гнать христианства врагов,
в трепете видеть и в страхе
тощих вогульских богов.

Толпы гулящих да беглых,
кто чем вооружен,
соболя брали да белок,
брали в замужество жен.

Избы ямские рубились,
гатились топи болот;
люди дрались и любились,
двигались дальше вперед.

Следом их шел землепашец,
тот — лишь с тайгой воевал —
в севе весеннем размашист,
по́том зерно поливал.

Но зарастало доброе семя:
не торопилось новое время.

7

Вот, матушка, деды какие!
Здесь были ямские дворы,
водились в них люди лихие
до самой советской поры.

Стояли сибирские села
по рекам, озерам вокруг;
народ горевой, невеселый,
соседу не брат и не друг.

Народ неприветливый, хмурый,
себе лишь не лиходей,
со зверя сдирающий шкуры,
а часом, бывало, с людей.

Здесь слов не слыхать было нежных,
не встретить улыбчивых губ;
и значило слово «подснежник» —
весною оттаявший труп.

Сидели в борах староверы,
в глухих затаенных скитах...

А ныне — расчеты, промеры
прорабы и инженеры
проводят в болотах, в лесах.

Теперь перестали глухими
стоять те сырые боры.
И люди здесь стали другими —
рожденья советской поры.

И, в новых светясь поколеньях,
встает из полярных оков
Сибирь скотоводов оленных,
охотников и рыбаков.

И школ, и амбулаторий,
и свет от колхозной избы
простерся до самого моря,
до выхода Обской губы.

8

Так как же, Наталья Андревна?
Не стать же нам к жизни спиной?
Не хмуриться ж горько и гневно,
что жизнь эта стала иной?!

Взгляни на Сибирское море,
раскинувшееся по Оби;
в немолчном его разговоре
душевную ширь полюби.

Тебя сибирячкой, рыбачкой
суровая мать родила;
еще ты ребячьей рубашкой
в «заморы» налимов брала.

Ты помнишь, как Обь замирала,
рыжея в низовьях везде;
как рыба, мертвея, всплывала
в почти неподвижной воде?

Вот так же и жизнь без движенья
мельчает себе на беду.
Так как твое будет решенье —
помочь государству? — «Иду!»

9

Громов перекатное эхо, —
последний пока не затих, —
и жителям переехать
пришлось из домов обжитых.

Мы знаем: не легкое дело
сниматься с насиженных гнезд,
где юность звездой пролетела,
где старость ушла на погост.

Но надо, чтоб к общему счастью
всей тягой тянула страна;

родною советскою властью
задача такая дана.

Что раньше-то? Вихри буранов
да темень в селенье глухом.
А нынче ты глянешь с экранов,
прославишься в книгах стихом.

А нынче твой взгляд перенесся
вдоль навстречь пошедшей реки:
несметны стада мериносов,
по двадцать кило курдюки.

Нам множество их, тонкорунных,
породистых, надо иметь,
чтоб граждан всех старых и юных
в добротное платье одеть.

Гляди-ка: отборные зерна
клевать — из куриных хором
бегут, поспешают леггорны,
светясь белопенным пером.

Нагуливает здоровье
не прежняя мелкота, —
растущее поголовье
породистого скота.

Ах, батюшки! Лучше да краше
хозяйства нигде не найти!
И все это, девоньки, ваше
рекой разлито по пути.

И все это — только начало,
одна путеводная нить,
которую мысль намечала,
чтоб будущее воплотить.

10

По замыслу точного плана, —
бежавшая в злые места, —
в огромную ширь котлована,
как в чашу, вода налита.

Ее подперевши теченье
и массу ее накопив,
осилим былое влеченье
ее направляющих сил.

Велением воли партийной
вся тяжесть собравшихся вод
охватится мощной плотиной
и двинется на поворот!

И вот она перехлестнула,
серебряная стрела,
турбины, шутя, повернула
и с севера к югу пошла.

Пошла, полилась, покатила
чиста, широка и светла,
Тобол и Ишим прихватила,
к Тургайским воротам пришла.

Запенились белые гривы,
и встал берегами народ;
и новые мощные взрывы
дорогу ей дали вперед.

И струи ее зазвенели
по стеблям сухим ковыля;
и рощи зазеленели,
усталую степь исцеля.

И там, где свирепый гнездится
безжалостный змей-суховей,
прижала его рукавицей,
нахлынувшей влажью своей.

11

Не десять, не двадцать, не сотня, —
мильоноголовая рать
здесь будет трудиться день со дня,
друг друга ярясь обогнать!

Не ради богатств и наживы,
а ради задачи большой
возьмутся — не льстивы, не лживы —
умом, и хребтом, и душой.

Здесь лиц и повадок — без счету!
Здесь русский, мордвин и башкир
в такую вступают работу,
которой не видывал мир.

А дальше с таджиком, узбеком —
тувинец, киргиз и казах...
Да, суть не в одном человеке:
взглянуть — запестреет в глазах!

Стоят они густо и плотно,
не надо кадить им и льстить.
Но есть ли такие полотна,
чтоб малый процент их вместить?

И есть ли такие поэмы,
чтоб лиц этих бронзу и медь,
не снизив до плоскости темы,
суметь без ущерба воспеть?

Вон с левого краю стосотый
услышит ли эти слова?
Чтоб справиться с этой работой,
нужна не одна голова!

А дальше вон, смуглый, румяный, —
он мог бы ходить с Пугачом,
годился б в герои романа, —
он здесь на участке — врачом.

И этот вот, светлоголовый,
ухватистый паренек, —
ему бы годился лавровый
героя почетный венок.

Да он без того со звездою,
с Геройской звездой трудовой.

И как подойти здесь к герою,
когда — где ни глянешь — герой!

И этот седой, величавый,
любимый в стране инженер,
овеянный доброю славой,
в работе и в жизни пример.

Здесь доблести дело и чести,
здесь твердая поступь и стать.
И если не все они вместе,
то как с этим всем совладать?

Не к малому в битве отрядцу
из видимых единиц, —
к мильонам, что выйдут на трассу,
с масштабом иным — не тянись,

Как только что с ярким, огромным,
в который вместилась страна,
которого не запомним
в минувшие времена!

Ведь вот как, Наталья Андревна!
Что раньше грозило бедой,
где прежде темнела деревня,
встает городок молодой.

В нем так же краснеет рябина,
как давнее множество лет.
Но — новая гидротурбина
дает в библиотеку свет...

Медовые запахи сена
плывут от лугов, через двор,
и в зал, через окна, на сцену, —
там нынче идет «Ревизор».

Но где ж вы, моя героиня,
что сердцу близка моему?
В Приморье иль на Украине,
В Туркмении или в Крыму?

Где медь выплавляют заводы,
а солнце — как плавка руды, —
пришедшие с севера воды
стирают бесплодья следы.

Где раньше пустыня стонала
(песчинок столкнувшихся вой), —
прорезалось ложе канала
могучей своей шириной.

Где раньше играли миражи
в обманную зноя игру,
там фабрики сукон и пряжи,
верблюжий очес ко двору.

К небесной воздушности синей
цеха свои трубы стремят:
рождается здесь алюминий
для наших воздушных армад.

Рябит ветерок водоемы,
возникшие в этих местах,
которые создаем мы
на деле — не только в мечтах!

Не выдумкой, не побаской
он — вот он, такой водоем;
и вы, с вашей статью рыбацкой,
при деле знакомом своем.

Мальков карасиного рода
приносит сюда самолет;
до выроста их и приплода
здесь нужен присмотр и учет...

Она мне видна издалеча,
обжившая эти места.
Наталья Андревна! До встречи!
До нового — в трубку — листа!

Воскрешение пустыни

1

По археологическим сведениям,
в местах, где прошел Тимур,
Хорезмское царство
было последним
из процветавших здесь древних культур.

Пред тем
разоренное Чингисханом,
оно уже не поправилось впредь,
оставив на волю
ветрам и барханам
разрушенную орошения сеть.

Где ныне
подобием караула
встает в безжизненно ярких лучах
безлиственная тень саксаула
да глаз слепит вдали солончак,

Там розы цвели,
и персики зрели,
белели дворцы больших городов,
раскатывались соловьиные трели
над блеском каналов
и лунных прудов.

Сюда
из величественного Ирана,
в обмен на закованных в цепи рабов,
цепочкой растянутого каравана
качались двустишья
верблюжьих горбов.

Отсюда проложен был путь
до Китая,
сквозь царство Булгарское наперерез;

купцы,
золотые монеты считая,
читали их место чеканки:
Хорезм.

Но время
свои колесницы катило,
копытами землю
смолол Тамерлан,
и пламя пожаров
сады охватило —
земля обезводилась
и умерла.

Ручей лепетал:
«Я затихаю,
последнею каплей
друзей оделя...»
В ответ ему тихо:
«Я засыхаю...» —
шептало дерево миндаля.

Земля,
потерявшая влагу и зелень,
еще растила
полынь и ковыль,
потом рассыхалась
узором расщелин,
копытами орд превращенная в пыль.

Пыль подымалась вихрем летучим,
верхнего взвив плодородье пласта,
и уносилась
темною тучей
в более жизненные места.

Теперь лишь илек —
сухая трава — здесь;
верблюд ползет по пескам, как мураш...
Зеленый, пышный хорезмский оазис
исчез в пустыне,
словно мираж.

Но скрыто в глубинах тех мест
плодородье:
лишь взбрызнуть
живою водою пески —
и к небу поднимутся
рощи,
угодья,
коробочки хлопка
и чая листки.

2

Как и откуда
взялась пустыня?
Этого в беглом десятке фраз
не объяснишь словами простыми —
будет долог
о том рассказ,
если для ясности изложения
не использовать воображения.

Это безбрежное море песка,
это верблюжьей волны одеяло
было горой,
и она высока
и недоступна
когда-то стояла.

Мильонолетья дожди лились,
мильонолетья бури свистели;
кряжи горы,
вознесенные ввысь,
вымылись, выщелочились, осели.

Снова вода проникала, резва,
в малые трещины зерен гранита;
льдом и жарой
разрывалась дресва,
новая грань была в щебень размыта.

И наступала такая пора —
скал целина
рассыпалась щебенкой;
преображалась гигант-гора
в карлика-гору,
в подростка,
в ребенка.

Мильонолетья дождей и ветров,
знобких ночей
и палящего зноя,
и — оголялся почвы покров
жаром ошпаренною желтизною.

И стала пустыня
на то похожа,
как будто с земли
была содрана кожа.

3

Пустыней стало и ложе реки
той, что сбегала с гор,
как шлейф волоча за собой черепки,
камень, щебень, сор.

Смиряла река на равнине бег,
выветривала хмель,
сама себе намывая помех,
взбивала волной мель.

И, одних прохладой своей одаря,
другим иссушив рот,
изменяла ложе Аму-Дарья,
за водой уводя народ.

Солнце сосет из земли влагу,
соли калийные гонит вверх.
Путник к губам поднимает флягу,
всюду в глазах его
зноя сверк.

И человек уходил из тисков —
сыпучих,
летучих,
горючих песков.

Там, где верблюда прошли следы,
песня одна здесь:
«Воды, воды!»
Повсюду,
из-за барханной гряды,
шепот иссохший:
«Воды, воды!»
И ветер, трубящий на все лады:
«Сюда воды! Сюда воды!»

А вода идет,
вода бежит
туда, где песок лежит,
где сожженный воздух
огнем дрожит,
росою вода свежит.

Уже прошел
Каракумский канал,
Большой туркменский —
в разгаре работ,
чтобы песок
от тоски не стонал,
чтобы людям
поменьше забот.

Чтобы народу
поменьше тревог,
двинется вслед им,
ширью дыша,
влага
в масштабе трех Волг —
из Оби, Енисея и Иртыша.

Эта вода ведется сюда
звездоносным указом Кремля,

чтоб возникли
сады,
города,
чтоб были в пустыне
заводы-поля.

Та вода идет,
и ее ведет,
и ее ведет,
как коня в узде,
Человек,
подобный звезде.

4

Были бои с царями и ханами,
с помещиками, с кулаками.
Ныне бои — с барханами,
такырами, солончаками.

И цветной хлопок из коробочек
проклевался,
словно воробушек;
голубой, зеленый и палевый —
по станкам без окраски распяливай!

Где солончак поблескивал лысо,
где заболочены были места,
выбрызнут густо посевы риса
и зелень чайного листа.

Заводы, укрытые зеленью парков;
бесшумны станки — колесо в колесо;
фонтаны,
чтоб смене, работавшей жарко,
студеною влагой овеять лицо.

И вот она вышла,
ударная смена,
в ней добрых стахановцев
не перечесть:

есть здесь узбеки,
таджики,
туркмены,
и роза у каждого
за ухом есть.

К ним близко — казахи
и каракалпаки,
лихие наездники,
злые рубаки.

Зубами скрипят они
в бешеной рубке;
от них — ни пощады врагу,
ни уступки.

Но вместе с тем
славные воины эти
и самые мирные
люди на свете!

Им только в байгу
на коня бы садиться;
хотят на полях они
мирно трудиться.

Вы все, кто коситесь
на нас издалека,
вы знаете ль новые
силы Востока?

Мы тем раздражаем вас,
вам досаждаем,
что строим плотины,
леса насаждаем?!

А вы насаждаете
мрак и убийства,
считая, что мир
в эту тьму углубится!..

Мы здесь не четыреста лет
и не двести:
мы с этой пустыней
родилися вместе.

Мы знаем прошедшего
нашего цену:
у нас — Аль-Хорезми,
у нас — Авиценна.

Но мы не прошедшим
гордимся отныне:
у нас на глазах
воскрешенье пустыни!

С наукой не только
по слухам знакомы, —
свои здесь геологи
и агрономы.

Капризы Аму
усмирив удилами,
мы новыми мирно
займемся делами.

С низов подняло нас
советское время
от жизни пастушеской
в зал академий.

Строить мы будем,
выращивать станем,
и — нету предела
нашим дерзаньям,

И — нету преграды
великим решеньям,
и мир рукоплещет
всем нашим свершеньям!

1949—1951

Поэма о Гоголе

Родина

Ой, спы, дитя, без сповыття.
Украинская песня

Едут чумаки по степи,
движутся медленно;
на колесах словно цепи,
холодно, ветрено.

В Нежин соль везут из Крыма,
степь расстилается;
их котлы черны от дыма,
ночь надвигается.

На костре кулеш кипит,
булькает яростно;
коростель в степи скрипит
горестно, жалостно.

Грома дальнего раскат,
день завтра ведренный;
хитрый тянется рассказ —
за полночь, медленный.

От костра плывет жара
дремно, приманчиво.
«Хлопцы! Спать давно пора.
Сказки — приканчивай».

Петухи в степи вопят,
звезды подвинулись;
чумаки роскошно спят,
важно раскинулись.

А ночь — красота и диво,
серебряная перспектива
в парче из лунных лучей,
и тысячи запахов сладких,
таящихся в сумрака складках,
где сонно лопочет ручей.

От этих степей казацких,
от этих огней чумацких
и рос его огненный дух,
рожденный на вольной равнине,
и только в холодном камине
в последний — взвился и потух.

Вечера

> Ой, вези ж мене із дому,
> Де багацько грому, грому...
>
> *«Сорочинская ярмарка»*

Как он был вначале весел!
Всех валил при чтенье смех:
сколько грому, шуму, песен, —
только сам серьезней всех.

Плыл по воздуху вареник,
Пацюку нацелясь в пасть;
брел по улице Каленик,
в хату не сумев попасть.

Все наборщики хватались
со смеху за животы;
вперегонку набирались
этих повестей листы.

Черт украл на небе месяц!
То ли сват, а то ли плут —
цыган красной свиткой метит
обморочить добрый люд.

Хороводы звезд сквозь ночи,
в искрах блещущий сугроб,
чтоб людей светлели очи,
не мрачнел в заботах лоб.

Запорожцев вольных гульбы,
бубен, взвитый в высоту...
Буйный мир Тараса Бульбы, —
Днепр в разливе, жизнь в цвету!

Петербург

Дождь сеет и сеет без шума,
туманом окутан Исакий,
как будто томит его дума
об этом предерзком писаке,

Что резво меж лужами скачет,
но все-таки ноги промочит,
что нос свой под шляпою прячет
и, слышно, в досаде бормочет:

«Зачем я оставил Полтаву,
свой Нежин покинув, уехал
в огнями сверкавшую славу,
в манящую близость успеха?

В тот город, где бледные ночи,
где нет ни родного, ни друга,
в туман без чудес и пророчеств,
где царствует циркуль да вьюга...»

Там лица угрюмы, упрямы,
там верят лишь в почесть да в прибыль;
«Портрет» там выходит из рамы
художнику на погибель...

Доносы, дознанья, шпионы —
власть Третьего отделенья;
пред старшими чином — поклоны,
пред троном — во прах на колени.

Лишь пушкинской славы сиянье,
лишь взрывы горячего смеха —
ума и души обаянье
будили ответное эхо.

Так пушкинский разум был светел,
что будто в России светало,
но деспот рассвет тот заметил,
и Пушкина больше не стало.

Так пушкинский гений был ясен,
так полон был света и пыла,
что совам полночным опасен —
слепило сиянье светила.

И Невский проспект стал дремучим,
заросшим чиновничьим лесом,
и низко клубящимся тучам
лежать на нем тягостным прессом.

Какое здесь сердцу веселье?
Ни песен, ни бешеной пляски;
плетется чиновник в «Шинели»
да скачут герои «Коляски».

А «Нос» по проспекту гуляет,
а немцы секут шематона,
а Поприщин воображает
себя обладателем трона...

Исчезнуть отсюда, уехать
от этого бреда и вздора!
Да, может, откликнется эхо
на громкий успех «Ревизора»?

Писатель и вельможа

Постановка «Ревизора»
всколыхнула зрителей;
никогда такого спора,
сцен таких не видели.

Спорят партер и раек —
золото и рубище;
спорят юность и старье,
прошлое с будущим.

«Это — пасквиль на Россию
и на правительство;
вы б у автора спросили:
где он это видел все?!»

«Вы везде таких найдете!
Это — наше мнение!»
«Эй, смотрите, — попадете
в Третье отделение!»

«Держиморды!»
«Щелкоперы!»
«Ох, нельзя потише ли?!»
Никогда такого спора
зрители не слышали.

В результате же — при встрече
с автором прославленных
книг —
вздымались грозно плечи
высокопоставленных.

Так, однажды был с ним случай
в доме графа Капниста;
часто, как приятель лучший,
здесь бывал он запросто.

Нужно же, чтоб на такого,
грозных мин не любящего,

нанесло вдруг Муравьева —
вешателя будущего.

Капнист гостю представляет
Гоголя — приятеля;
хмуро генерал взирает
сверху на писателя.

В голосе — судеб немилость,
спесь в обличье каменном:
«Кажется, не приходилось
сталкиваться с вами нам?!»

Гоголь ус усмешкой тронул,
не смутясь ответами,
не сломал себя поклоном
перед эполетами:

«Да-с! Не приходилось — к счастью:
для меня ведь гибельно
было б сталкиваться с властью,
а для вас не прибыльно!»

Повернулся и — уехал;
срезал — чисто-начисто!
Только слов звучало эхо
в доме графа Капниста.

Путешествие

Вот он уже с год за границей;
в душе его ходят зарницы,
то жаром восторга охлынут,
то тучи содвинут.

Бороться с бесправьем? Попробуй!
Он едет крахмальной Европой.
Повсюду — цветочные грядки.
Чужие порядки.

Германия, Франция, Альпы...
Так ехать и ехать все вдаль бы,
чтоб скрыться, стереться из вида,
но — морем Европа обрыта.

Нет Пушкина больше на свете!
А кто же в ответе?
Недобрые носятся слухи,
упорны и глухи...

Об этом и думать постыло:
кровавая мгла над короной...
Россия застыла
от лермонтовской похоронной.

Ну, этот был выслан немедля
и пал бездыханный,
еще хорошо — не от петли, —
от пули нежданной.

А те, декабристы?! Кто в ссылке,
а кто всенародно повешен...
Дрожат на виске его жилки,
глядит, как помешан.

Уж если тех... громких фамилий...
Что ждать паныча с Украины?
Страниц его дерзостной силы
бесчисленны вины.

Взять зеркало «Ревизора»:
ведь рожи-то — подлинно кривы;
под сталью жандармского взора
устоев подрывы!

А что у Вольтера в Фернее
ты был, — все зачтут и зачислят:
чего уж свидетельств вернее
развратности мысли!

Лицо венценосного Вия:
поднимутся тяжкие веки,

протянутся пальцы кривые
за горы, за реки..

Так рек широки этих ложа,
так чащи безлюдны и дики,
что — бойся до дрожи
звериного нрава владыки!

Рим

Серебряно небо над Римом
целебно-душевным надрывом,
а лучшее в мире лекарство —
под усом лукавство.

Он бродит средь римских развалин
то радостен, то печален,
и сами несут его ноги
по Аппиевой дороге.

На арке водопровода
лежит он и в небо глядится,
и в небе — различного рода
рой образов дивных родится.

И, вспыхивая от восторга,
он скачет по виа-Феличе:
плевать ему на Бенкендорфа —
он понял бессмертья величье!

И, перед конторкою стоя,
он пишет — в работе привычка, —
и едет сквозь жито густое
знакомая пыльная бричка.

Не римская это окрестность,
не мрамор дворца Адриана, —
глухая заросшая местность
в качанье бурьяна.

Обширные русские дали,
где люди свой край полюбили,
где — как бы они ни страдали —
достоинству не изменили.

Хоть будни их многотрудны,
но неисчерпаемы силы,
лишь трутни, плетущие плутни,
пятнают величье России.

Как туши их пышно здоровы —
не лезут в мундиры и фраки, —
густы Собакевича брови,
Ноздрева растрепаны баки.

Поймать, обличить их природу,
потребовать грозно к ответу,
на чистую вывести воду! —
вот родины голос поэту.

Возвращение

Приехал. Все бурно встречают,
чуть лаврами не венчают.
Дубовые машут дубравы
венками тяжелыми славы.

«Вон Гоголь!» — «Который? Который?»
«Вон энтот — в зеленом жилете».
Все те же в вопросах повторы,
все те же шаблоны в ответе.

Какое вокруг лупоглазье,
рты, штрипки, брелоки, цепочки...
Для этого разве
горячие плавились строчки?

Чем бесцеремонность осилишь?
Дундят надоедливо в уши:
«Ну что, Николай Васильич,
как движутся «Мертвые души»?

Второго все ждем от вас тома!..»
«А вы, — если так уж спешите, —
сберитесь когда-нибудь дома
да вместе и напишите!»

«Какой недотрога спесивый!
Вот слава! Как носится с нею!
Уж так ничего не спроси его:
писателю — быть бы скромнее».

Чем он раздражен? Чем расстроен?
Души постоянным двоеньем —
перед крепостническим строем,
пред грозным надзором военным.

Что сделано? Что остается?
Чем новым он путь свой означит?
А время несется, несется!
А тройка все скачет и скачет!

В Калуге

Не жилетом, модно сшитым,
не пробором тщательным, —
был он самым знаменитым
русским писателем.

Он толкался в гуще люда,
битого да мятого,
видел, где темно и худо, —
все на ус наматывал.

Вот он нынче на базаре,
где ряды торговые.
В шашки режутся в азарте
рядчики толковые.

Дуя в блюдце с чаем чинно,
сахарок прикусывая,
шапку двигает купчина —
бородища русая.

Ветер был в тот день порывист,
пух вздувал на курице,
пыль столбом — чуть глаз не выест, —
круговерть на улице.

Преотличнейшую шляпу
с лентою атласною
ветер, уцепивши в лапу,
сунул в лужу грязную.

Превосходнейшую шляпу,
белую, пуховую,
так сподобило заляпать —
хоть меняй на новую!

Вот выходит он из лавки
в новой шляпе выбранной,
эту бросил на прилавке,
грязь и ветер выбранив...

Все соседи набегали
в лавку ту, завидуя,
толковали, примеряли
шляпу знаменитую.

Все сидельцы собралися,
шляпу с чувством трогали,
умиленнейшие лица —
говорят о Гоголе:

«В любом городе-посаде
изо всех отличь его, —
завлекательный писатель —
вывел городничего.

Всем нам шляпа тесновата:
не в котел головушка,
а ума-то в ней — палата!
Мал, да смел соловушка!»

Неудача

Пить ли воду из лужи горсткой
той, чей рот, как гвоздика, ал?
Для красавицы Виельгорской
золотой
подают бокал.

Граф-отец,
вельможа придворный,
понимает пользу искусств;
он,
любитель муз непритворный,
преисполнен к Гоголю чувств.

А наследница задружила
с чудным автором повестей,
и ему она ум вскружила,
отличая из всех гостей.

Сладок ландышей запах в мае,
окипает сирень у плеч;
соловьиным речам внимая,
сам ведешь соловьиную речь.

Зреют замыслы в нем великие,
и она верит в мысли те;
разговоры у них
о религии,
об искусстве,
о красоте.

Близость вкусов и яркость взглядов,
прелесть пальчиков, взятых в плен;
век сидеть бы с такою рядом,
не вставать бы пред нею с колен!

Стрекозиная легкость стана,
тень ресниц в полщеки легла...
Не такая ли польская панна
сына Бульбы в плен завлекла?

Что ж, быть может, и быть бы свадьбе, —
взвился б к небу, как новый грош!
Частый гость он в графской усадьбе,
без докладов в хоромы вхож

Да сомнения давят темя:
по плечу ли ему жена?!
Не Тарасово нынче время, —
Подколесины времена!..

Вот и просит он в помощь друга
поразведать, поразузнать:
как его в отношенье супруга
могут выслушать и принять?

Тот в ответ: «Ты спятил, любезный!
Ей с тобой пойти под венец?
Тут и спрашивать бесполезно:
дверь запрут пред тобой, и конец!
Кто ты? Шляхтич мелкопоместный,
а куда свой заносишь взор:
для тебя породниться лестно,
а для них? На весь род покор!
Лучше в старых девках остаться ей,
чем спуститься из высших сфер.
Тут, брат,
прямо сказать —
дистанции
не-пре-одолимый размер!»

Так — гулять им и лесом и лугом
в блеске августа золотом.
Пребывать ему добрым другом
а мечта — совсем не о том!

Святейшие воины

В Париже папский наместник,
следящий за миром незримо,
ждет добрые важные вести
из первопрестольного Рима.

Два бывшие офицера,
сверкавшие раньше в кирасах,
теперь — представители веры,
святейшие воины в рясах.

Им ведомо: в городе вечном,
взыскующий бога живого,
тоскует в смятенье сердечном
синьоро Николо Гоголь.

Славнейший из авторов русских
в своей приумножится славе,
из сумерек вырвавшись узких
угрюмого православья.

Наказ им о Гоголе этом:
«Свет истинной веры да примет,
блуждавший подобно кометам, —
да склонится в сторону Рима!

Он станет нам добрый помощник,
затепливши пламя примера,
в краях этих чертополоших,
где тьмой покрывается вера.

Вы к сердцу его воззовите,
пускай он познает отныне,
что движет иезуитов
сквозь дым дикарей и пустыни!»

Двух бедных смиреннейших братьев
потуплены тихие взоры, —
в убогом монашеском платье
две тени на виа-Трафоро.

Средь сотен шуршащих сандалий,
в нависшем над Форумом зное,
вы, верно, бы не угадали,
куда эти движутся двое?

В Париже папский наместник,
парящий над миром незримо,
ждет важные тонкие вести
из первопрестольного Рима.

Опять заграница

Опять заграница. Отсюда
все кажется легче и проще —
под говор беспечного люда
сквозь лавр и маслинные рощи:

И лед на проспекте на Невском,
и хмурь деревеньки угрюмой,
и что поделиться там не с кем
заветной горячею думой.

Вдруг он обернулся в тревоге
на шорох или на дыханье —
стоит на пороге
монах в порыжелой сутане.

Черты его резки и смуглы,
увядшие губы бескровны,
глаза ж — словно угли
стоящей у входа жаровни.

«Ты кто?»
«Я от братьев Христовых
из ордена Иисуса.
Твой дух истомился в оковах,
обрывками мысли несутся.

Не мудрствуй и не завидуй,
обманчивы бедные чувства:
все в воле иезуитов —
и слава и сила искусства!

Мы властвуем в Риме и в мире
над сонмами душ человечьих
и в вашей студеной Пальмире
спасаем Христовых овечек.

Взгляни: сквозь пролет этой арки
ты видишь века пред собою;
ничто короли и монархи
пред пылью под нашей стопою.

Ищи не в гордыне спасенья,
не в мненьях разряженных кукол,
а здесь, под торжественной сенью
собора, чей видишь ты купол.

Его Микеланджело строил,
движением мысли поднявши
без всяких опор и устоев
небес опрокинутой чашей.

Все в мире пред этим убого!»
Исчез и не стукнул подошвой,
как будто истаяв с порога...
«А может, и этот — подослан?

А может, и это виденье
из Третьего отделенья?
Прокрался — на личном примере
проверить приверженность к вере?

Охотятся, как за зверем,
устраивают облавы:
то эти косятся — не верим,
то эти грозятся — ославим!»

Измученный до помраченья
ума, до галлюцинаций,
он ищет в разъездах спасенья,
в различьях народов и наций.

Но — болен неисцелимо —
он взорами смотрит пустыми;
он едет к Иерусалиму,
и там — лишь пески да пустыня.

Куда ж ему деться? Где скрыться,
томимому страхом и гневом?
В какие сугробы зарыться,
под чьим успокоиться небом?

Нигде от тоски не свободен,
душою он рвется к России,

и нет ему радостней родин,
чем та, где дожди моросили;

Где многое в жизни нелепо,
но лучших труды — не напрасны;
где грустно осеннее небо,
но вешние грозы — прекрасны!

Письмо

Приехал. Раскрыты объятья,
поклонниц шуршащие платья,
все бывшие дальними — близки,
восторги, почет... Но — Белинский!

Лишь он был один только честен
без всяких расчетов, без лести,
за правду поднявшись горою,
как и подобает герою.

Письмо было жаркой обидой,
письмо было горькой досадой,
печалью и гневом повитой,
но — правдой, великою правдой!

А правда — сильнее обиды,
и правда — важнее досады:
все домыслы ею разбиты,
и все ухищренья разъяты.

А он ведь на правду ответил
(хоть голос звучал уже глуше), —
он вывести в люди наметил
живые — не «мертвые души».

Ведь вот он — Бетрищев-Раевский —
в отставке, в осанке ленивой,
а Улиньку ведь Чернышевский
учил быть прямой и правдивой.

Сидят за столом они — рядом...
И Чичиков жался и мялся,
когда с проницательным взглядом,
приятно осклабясь, встречался.

Его, кто влезал так прилично
в малейшую щелку без мыла,
как мелкого вора с поличным,
хватала зрачков этих сила.

Ему, кто с утра был опрятен,
обтершись одеколоном,
был так этот взгляд неприятен,
как будто пускал оголенным.

Исчезните в мире, Ноздревы,
помещики, стряпчие, судьи, —
на вас, беспощадно суровы,
глядят настоящие люди!

Те люди не серенькой масти,
то — новая поросль России,
и как же их чистое счастье
и действенней и красивей!

Пускай оно только в тумане,
еще не развидено ясно,
но в жизни, в поэме, в романе —
лишь с ними Россия согласна.

А эти — ханжи и святоши...
И ты заодно с ними тоже?
Но поздно... Назад не воротишь,
себя лишь вконец обезродишь.

Откуда такие берутся?
Поклонники пыли и праха...
Взглянуть на зловещего Струдзе —
и сразу привидится плаха.

И видит, терзаемый страхом,
себя он в казенной телеге,
метельным окутанной прахом,
а рядом — казенный фельдъегерь.

Вокруг изуверы-монахи
твердят о деснице господней,
пугают загробные страхи,
клубится туман преисподней...

Всю Русь ты обидел насмешкой,
довольно шутить и смеяться,
гляди, образумься, не мешкай, —
возмездия нужно бояться!

Так светлую душу поэта
темнили могильные тени,
так тихо сживали со света
свидетеля их преступлений.

Конец

Худой, изможденный, в халате,
идет он, осилив тревогу,
по горниц пустой анфиладе:
«Свети, казачонок, дорогу!»

Ну вот он перед камином,
ни сердца родного, ни друга,
заклятый зловещим аминем,
толпой изуверов запуган.

В глазах еще искры рябили,
на сердце темно и угарно:
«Не гарно мы, хлопче, зробыли,
не добре, не гарно!»

...А может, не так это было,
и не был пленен его разум, —
и ревность славянофила
снабдила нас этим рассказом?

И, может, рассказ этот ложен —
рожденная смертью химера, —
а был его труд уничтожен
холодной рукой изувера?..

Какие там были событья!
Какие безмерные дали!..
Каких горизонтов открытья
читателя там ожидали!

Там новый герой намечался
(спиной холодок пробегает),
для тройки там путь расстилался,
и вот это все — пропадает!

...Роскошно раскинулись степи,
шумит молодая природа.
«Мой труд не рассыпался в пепел,
мой голос дошел до народа!

Затем я оставил Полтаву,
свой Нежин покинул, уехав,
что верил в бессмертия славу,
что слышал грядущего эхо!»

Умолкнут все звуки былого,
промчатся все призраки мимо,
лишь вечно горящее слово
навеки неиспепелимо!

1952—1955

Переводы

Адам Мицкевич

ПЕСНЯ ФИЛАРЕТОВ

Эй, больше в жизни жара!
Живем один лишь раз:
Пусть золотая чара
Недаром манит нас.

Живей пускай по кругу
Веселых дней подругу!
Хватай и наклоняй до дна,
Чтоб жизни глубь была видна!

К чему здесь речь чужая?
Ведь польский пьем мы мед;
Нас всех дружней сближает
Песнь, что поет народ.

У древних нам учиться —
Не в книжном прахе гнить:
Как греки — веселиться,
Как римляне — рубить.

Вот там юристы сели,
И им бокал поставь:
Сегодня — право силы,
А завтра — сила прав.

Сегодня громогласье
Свободе невдомек:
Где дружба и согласье, —
Молчок, друзья, молчок!

Кто гнет металл и плавит,
Тот плавит времена;
Нам, чтоб его прославить,
Пусть Бахус даст вина!

Тому из мудрых слава,
Кто в химии знал вкус:
Тончайшего состава
Пил мед любимых уст.

Измеривший дороги,
Пути небесных тел,—
Был Архимед убогим:
Опоры не имел.

А нынче, если двигать
Задумал мир Ньютон, —
У нас пусть спросит выход —
И этим кончит он.

Чертеж небесной сферы
Для мертвых дан светил,
Для нас же — сила веры
Вернее меры сил.

Затем, что — где пылает
Порывов сердца дух,
Зря мерку снять желают!
Единство — больше двух!

Эй, больше в жизни жара!
Живем ведь только раз:
Вот золотая чара,
Не медли, дорог час.

Кровь стынет в бедном теле,
Поглотит вечность нас,
И взор затмится Фели, —
Вот филаретов сказ.

НАД ВОДНЫМ ПРОСТОРОМ...

Над водным простором чистым
Толпятся утесов кручи;
И вод простором лучистым
Изваяно их отраженье.

Над водным простором чистым
Клубятся хмурые тучи;
И вод простором лучистым
Удвоено их движенье.

Над водным простором чистым
Блеск молний и грома гулы;
Но в зеркале вод лучистом
И свет и звук утонули;
А воды, как прежде, чисты,
Стоят светлы и лучисты.

В те воды когда ни глянешь —
В душе тотчас отразятся
И молний мгновенный глянец,
И скалы, что громоздятся.

В высоты стремиться — кручам,
По небу кружиться — тучам,
Лить молниям блеск, сгорая,
Мне ж — плыть без конца, без края!..

РАСЦВЕЛИ ДЕРЕВЬЯ СНОВА...

Расцвели деревья снова,
Ароматом дышат ночи;
Соловьи гремят в дуброве,
И кузнечики стрекочут.

Что ж, задумавшись глубоко,
Я стою, понурив плечи?
Сердце стонет одиноко:
С кем пойду весне навстречу?

Перед домом, в свете лунном,
Музыканта тень маячит;
Слыша песнь и отзвук струнный,
Распахнул окно и плачу.

Это стоны менестреля —
В честь любимой серенада;
Но душа моя не рада:
С кем ту песнь она разделит?

Столько муки пережил я,
Что уж не вернуться к дому;
Не доверить дум другому,
Только лишь немой могиле.

Стиснув руки, тихо сядем
Пред свечою одинокой;
То ли песню в мыслях сладим,
То ль перу доверим строки.

Думы-дети, думы-птицы!
Что ж невесело поете?
Ты, душа моя, — вдовица,
От детей своих в заботе.

Минут весны, минут зимы,
Зной, снега сменяя, схлынет;
Лишь одна, неизменима,
Грусть — скитальца не покинет.

ПЕСНЯ

(Из поэмы «Конрад Валленрод»)

Вилия — мать родников наших чистых,
Вид ее светел и дно золотисто,
Но у литвинки, склоненной над нею,
Сердце бездонней и очи синее.

Вилия в свежих приковенских склонах,
Среди тюльпанов и роз благовонных;
У ног литвинки — юноши наши,
Роз и тюльпанов стройнее и краше.

Вилия мимо цветов протекает,
К Неману вечно стремиться готова,
Так и литвинка своих избегает,
Юношу предпочитая чужого.

Вилия, встречена сумрачным валом,
Бурно объята в объятьях железных,
Мчится с ним к морю, мчится с ним к скалам —
И исчезает в открывшихся безднах.

Так и тебя, о литвинка, скиталец
Вдаль оторвал от родного порога!
В море житейском, грустя и печалясь,
Тонешь ты горестно и одиноко.

Сердцу и струям указывать тщетно!
Девушка любит, Вилия мчится,
Вилия к Неману льнет беззаветно,
Девушка в башне угрюмой томится.

Юлиан Тувим

ВСТУПЛЕНИЕ

(Из поэмы «Цветы Польши»)

Мой стих, рожденный болью острой,
Дитя чужой, заморской песни!
В цветах ты вьешься змейкой пестрой
И вновь среди цветов исчезнешь.
Как фокусник со дна цилиндра
Букеты роз и ленты тянет,
На радость восхищенным дамам,
Все из цилиндра будто выбрав,
Внезапно кролика достанет, —
Так я движеньем тем же самым,
Магическим приемом слова —
Из глубины сердечной к свету
Со дна души вздымаю снова
Разнообразные предметы.
Вот цвет букета лугового...
Цветы лугов, чебрец, осока,
Известно всем, растут высоко.
От этой рифмы, близкой строем,
Уж пахнет луговым настоем!

В ней — цветовых лучей излишек...
Вот сад беспечных сновидений
И роз, как просьб и детских вспышек,
И замирающих стремлений...
(О, первый сон любви счастливой!)
Он здесь...

Но видит взор пытливый
Меж тех цветов — обличье ближних,
Средь вдохновений и наитий,
Меж строк возвышенных и пышных,
Огромные зрачки событий.
Так люди там!.. О чернокнижник,
Твое перо чрезмерно ярко,
Твое перо чрезмерно смело,
Что показать оно сумело —
Твой жезл магический, твой «паркер»?
Чему помог ты ямбов ладом?
Вглядись в событий грозных стаю...
Гляжусь!

Так к созданному раю
Создатель проникает взглядом.

СТРОФЫ О ПОЗДНЕМ ЛЕТЕ

1

Смотри, как всюду осень
Вином в стекле вскипает.
А это — лишь начало,
Она лишь наступает.

2

Зазолотели листья,
Корзинами их сносят.
Травы такая гуща, —
Сама покоса просит.

3

В бутылках летний солод
Кипит, бурлит и бродит,
Под пробками томится
И места не находит.

4

А рядом — спелых яблок
Литой сквозь листья глянец,
Поры прошедшей лета
Болезненный румянец.

5

Еще на камне греет
Ящерица спину
Среди травы из меди,
Травы, травы змеиной.

6

Медовою волною
Над лугом сено веет,
Дохнет душистым зноем
И вновь похолодеет.

7

Пруд полон облаками,
Как лепестками чаша.
Я чуть их палкой трону,
Чтоб тишь стояла та же.

8

Насквозь проникло солнце
Сквозь воду, землю, тело.
Ресницы спутал ветер,
Дремота одолела.

9

Смолой из кухни веет:
Там кипятится хвоя,
Питье, что сам придумал
Бор в золотом настое.

10

И сам стихи придумал,
Не знаю — в чем помогут,

Но я писал их тихо,
С любовью и тревогой.

11

И пусть их мой читатель
Поспешно прочитает,
Ведь песня лета спета,
И осень наступает.

12

Я осень выпью квартой,
Уйду в аллей пустынность
И на сырую землю
Под белый месяц кинусь.

СИРЕНЬ

Нарвали сирени. набрали,
Награбили, наломали,
Накрали — душистой, росистой,
Лиловой и белой, лучистой.

Цветов в ней и листьев — без счету,
Считать потеряешь охоту.
Топорщится, жмется, теснится —
И в гуще поющая птица.

Как ветви ломали с размаху —
Запутали сонную птаху.
В ветвях ее шумных и грузных
Забился испуганный узник.

Сирень помирает со смеха:
«Куда ты, любезный, заехал?»
Ему ж, оглушенному в зелень,
Одно щебетанье — утеха.

В душистой темнице сирени
Он горло дерет в исступленье:
«Еще ее рвите, ломайте!
Чтоб сгинуть в ее аромате!»

КАМЫШИ

Над водою тянуло мятой,
Плыл рассвет над водой, розовея.
Камышей густых ароматом
Свежесть вод вместе с мятой веяла.

Я не думал тогда, что травы
Превратятся в стихи с годами,
Что в словах я лишь буду их славить,
А не жить и дышать меж цветами.

Я не знал, что такая мука
Поиск слов для живого мира,
Я не знал, что цветов наука
Учит долу склоняться сиро.

Только знал я, камыш сплетая,
Что силков никому не готовлю,
Ни за кем не пойду на ловлю,
Что легка моя сеть витая.

Лет беззлобных великий боже,
Бог мальчишеского рассвета,
Неужели ж не будет больше
Веять мятой и тишью лета?

Неужели ж — всегда и всюду —
Лишь в словах ища отраженья,
Никогда я видеть не буду
Камышей живого движенья?

МУЗА ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Не ищите яркость слова,
Обложившись словарями, —
В сад густой вернитесь снова,
В сад, гремящий соловьями.

Там по-старому запойте,
Загрустив по-молодому.
Весь в невесть какой заботе,
Я иду к нему, как к дому.

Трепет трав и птичьи трели, —
Те слова не увядают,
Нет, они не постарели, —
Соловьи еще рыдают.

Там нас встретит тень любимой.
Как ей сладко было клясться
Той порой невозвратимой —
Лет тому назад пятнадцать.

Нежный образ, светлый облик,
Ты, что в песнь вложила слово, —
Вновь влюбленных, чистых, добрых
Ты нас здесь встречаешь снова.

Ночь в сирени, звук свирели,
Звезды плавают в фонтане...
Так летите ж, эти трели,
К милой Музе, к светлой Панне!

Владислав Броневский

14 АПРЕЛЯ

Памяти
Владимира Маяковского

По ту сторону радости
Ждут усталость и смерть.
Всею жизни громадой
Их значенье измерь.

Но, из сумрака вышедши,
Прогремит оратория,
В небо взвитая выше, чем
Черный дым крематория.

Пусть нам слово, как радий,
Прожигает сердца.
Слава павшим собратьям,
Нам же — путь без конца!

ДЛЯ КОГО СТИХИ?

> На Лодзинской ткацкой фабрике им. Гарнама второй молодежной бригаде присвоено имя Владислава Броневского.

Не так это вовсе просто,
А кажется — вещь простая;
Ты думаешь: кончится с ростом,
А с ростом того не оставишь.

Рифма тянет и школьников в классах,
И профессоров седовласых,
И рабочих передовых,
И даже глухонемых.

Только это не виршеплетство,
Не напыщенное пророчество;
В польской речи прочно и просто
Людям высказать себя хочется;

Объяснить, что хотят миллионы,
Описать их поступки и лица;
Разгадать, к чему они склонны,
Чтоб душой с ними слиться

Во имя огромного дела —
Достоинства человека, —
Чтобы лучшая рифма взлетела
К вершине века.

И тогда в стихах, как и в прозе,
Затраты усилий стоили.

Спасибо ткачам из Лодзи
За то, что имя мое
Своей бригаде присвоили.

Тарас Шевченко

* * *

Ветер веет, повевает,
Шепчется с травою;
Плывет челнок по Дунаю,
Гонимый волною.
Плывет в волны, водой полный —
Никто не приметит;
Кому глядеть? Хозяина
Давно нет на свете.
Поплыл челнок в сине море,
А оно взыграло...
Поднялися волны — горы,
И щепок не стало.

Короткий путь что челноку
До синего моря, —
Сиротине — до чужбины,
А там — и до горя.

Словно волны, поиграют
С ним добрые люди;
Потом станут удивляться,
На что он в обиде;
Потом спроси — где сирота?
Никто и не видел...

ГАМАЛИЯ

«Ой, все нет и нет ни волны, ни ветра
От матери-Украины;
Там идут ли речи про поход на турок —
Не слышно нам на чужбине.
Ой, подуй, подуй, ветер, через море
Да с казацкого поля,
Высуши нам слезы, утоли печали,
Облегчи неволю.
Ой, взыграй, взыграй синевою, море,
Колоти в борт волнами...
Лишь мелькают шлыки — то плывут казаки
К султану за нами.
Ой, боже наш, боже, хоть и не за нами —
Неси ты их с Украины:
Услышим про славу, казацкую славу,
Услышим и свет покинем».

Вот этак в Скутари казаки стонали,
Стонали бедняги, а слезы лились,
Казацкие слезы тоску разжигали...
Босфор задрожал — потому не привык
К казацкому плачу: вскипел величавый
И серую шкуру подернул, как бык,
И дрожь пробежала далеко, далеко,
И рев его к синему морю дошел,

И море отгрянуло голос Босфора,
В Лиман покатило и дальше в просторы,
И в Днепр этот голос волной донесло.
Загрохотал старик, вскипая,
Аж ус от пены побелел:
«Ты спишь? Ты слышишь! Сечь родная?»
И Луг Великий загудел
За Хортицею: «Слышу! Слышу!»
И Днепр покрыли челноки,
И так запели казаки:

«У турчанки — высок терем,
Богата светлица.
Гей, гей! Море, бей!
Выше скал волны взвей! —
Едем веселиться!

*

У турчанки-басурманки
Дукаты в кармане.
Не дукаты считать,
Едем вас выручать,
Братья-христиане!

*

У турчанки — янычары
Со своим пашою...
Гей, ги! Эй, враги!
Свою жизнь береги —
Мы смелы душою!»

Плывут себе, поют они,
А ветер крепчает...
Впереди их Гамалия
Дубом управляет.

Гамалия, водяные
Взыграли просторы.
Ничего! И лодки скрылись.
Одни волны — горы.

Спит, дремлет в гареме в раю Византия,
И дремлет Скутари, Босфор же не спит;
Он, точно безумный, гнет волны крутые,
Он сон их встревожить желает, кипит.
«Не тебе, Босфору, вступать со мной в ссору! —
Шумит ему море. — Я твою красу
Песками закрою, коль дойдет до спору.
Разве ты не видишь, каких я несу
Посланцев к султану?..» Так море сказало.
(Любило отважных чубатых славян.)
Босфор усмирился. Турчанка дремала.
Ленивый — в гареме дремал и султан.
И только в Скутари очей не смыкают
Казаки-бедняги. Чего они ждут?
По-своему богу мольбы посылают,
А волны на берег бегут и ревут.

«О милый боже Украины,
Не дай погибнуть на чужбине
В неволе вольным казакам:
И тут позор, позор и там —
Встать из чужих гробов с повинной,
На суд твой праведный прийти,
В железах руки принести,
В цепях-оковах перед всеми
Предстать казакам...»

«Жги и бей,
Режь нечестивца-басурмана!» —
Крик за стеною. Голос чей?
Гамалия, глянь, какие
Янычары злые!
«Режьте! Бейте!» — над Скутари
Голос Гамалии.

Ревет Скутари, воет яро,
Все яростнее пушек рев;
Но страха нет у казаков,
И покатились янычары.

Гамалия по Скутари
В пламени гуляет,
Сам темницы разбивает,
Сам цепи сбивает.
«Птицы серые, слетайтесь
В родимую стаю!»
Встрепенулись соколята,
Распрямили плечи,
Давным-давно не слыхали
Христианской речи.
Испугалась ночь глухая,
Тот пир наблюдая.
Не пугайся, полюбуйся,
Наша мать родная!
Темно всюду, точно в будни,
А праздник не малый:
Что ж, не воры у Босфора
Едят молча сало
Без шашлыка! — Осветим пир! —
До облак из гари —
С кораблями, с парусами
Пылает Скутари.
Византия пробудилась,
Глазищами блещет,
Плывет своим на подмогу —
Зубами скрежещет.

Ревет, ярится Византия,
Руками берег достает;
Достала, гикнула, встает —
И — на ножи валится злые.
Скутари, словно ад, пылает;
Через базары кровь течет,
Босфор широкий доливает.
Как птиц разбуженная стая,
В дыму казачество летает:
Никто от хлопцев не уйдет,

Их даже пламя не печет!
Ломают стены. Золотыми
Доверху шапки их полны,
Ссыпают золото в челны...
Горит Скутари.

В сизом дыме
Казаки сходятся. Сошлись,
От жара трубки закурили,
На челноки — и понеслись,
Меж волн багровых заскользили.
Плывут себе как из дому,
Будто бы гуляют.
И — конечно — запорожцы,
Плывя, распевают:

«Атаманом Гамалия
Стал недаром зваться:
Собрал он нас и поехал
В море прогуляться;
В море прогуляться,
Славы добиваться,
За свободу наших братьев
С турками сражаться.
Ой, добрался Гамалия
До самой Скутари;
Сидят братья-запорожцы,
Ожидают кары.
Ой, как крикнул Гамалия:
«Братья! Будем здравы!
Будем здравы, хлебнем славы,
Разметнем оравы,
Рытым бархатом покроем
Курени дырявы!»
Вылетало Запорожье
Жать жито на поле;
Жито жали, в копны клали,
Дружно запевали:
«Слава тебе, Гамалия,

На весь мир великий,
На весь мир великий,
По всей Украине,
Что не дал ты запорожцам
Пропасть на чужбине!»

Плывут они, поют; плывет
В челне последнем Гамалия,
Своих орлят он стережет;
Догнать не смеет Византия
Казачьи лодки удалые;
Она боится, чтоб Монах
Не подпалил Галату снова,
Не вызвал чтоб Иван Подкова
На поединок на волнах.
Встает волна за волною,
Солнце на волне горит;
Перед ними их родное
Море плещет и шумит.
Гамалия, вот родные
Пред нами просторы...
И не видно лодок, только
Волн живые горы.

ЧЕРНЕЦ

На киевском на Подоле
Так бывало... и уж боле
Этого не будет. Было,
Было это все, да сплыло,
Позабылось... А я, братцы,
Буду все-таки стараться
С тем, что было, повидаться,
Буду грусти предаваться.

На киевском на Подоле
Казацкая наша воля,
Без холопа и без пана
Ни пред кем не кло́нит стана.
Стелет бархатом дороги,
Вытирает шелком ноги,
Сама собой управляет
И пути не уступает.

На киевском на Подоле
Казаки гуляют,
Словно воду, ушатами
Вино разливают.
Погреба с вином, с медами
Откупили всюду
И устроили гулянье
Киевскому люду.
А музыка гремит, стонет,
Даже мертвых тронет.

Из окошек на веселье
Бурса чубы клонит.
Нету голой школе воли,
А то б удружила...
Кого же это с музыкою
Толпа окружила?

В штанах атласных ярко-красных,
Мотню по пыли волоча,
Идет казак. Как вы ужасны,
Ох, годы! годы! Сгоряча
Старик ударил каблуками,
Да так, что пыль взвилась! Вот так!
Еще и подпевал казак:

«По дороге рак, рак,
Пускай будет так, так,
Если б нашим молодицам
Сеять один мак, мак!
Бей землю каблуками,
Дай ходу каблукам,
Достанется и носкам.
Чтоб за теми каблуками
Пыль ходила облаками,
Бей землю каблуками!
Дай ходу каблукам,
Достанется и носкам!»

Так до Межигорского спаса
Шел вприсядку сивый,
А за ним и казачество,
И весь честной Киев.
До ворот дошел, танцуя,
Крикнул: «Пугу! Пугу!
Принимайте, черноризцы,
Товарища с Луга!»
Монастырские ворота
Перед ним открылись,
Потом снова затворились,
Навек затворились.

Кто же этот поседелый
В битвах да в несчастьях?
Семен Палий, казак, вздумал
С волей попрощаться.

Ой, высоко солнце всходит,
Низенько заходит;
В длинной рясе седой чернец
По келии бродит.
Идет, бредет он в Вышгород
Ближнею дорогой,
Чтобы посмотреть на Киев,
Погрустить немного.
К Звонковой [1] идет кринице,
Чтоб воды напиться;
Жизнь свою он вспоминает
В яру над криницей.
И опять идет он в келью,
Под немые своды,
Перебирать веселые
Молодые годы.
Священное писание
Громко он читает,
А мыслями чернец седой
Далеко летает.

И тихнут божии слова,
И голос Сечи снова зычен,
Свобода давняя жива;
И старый гетман, как сова,
Глядит в глаза. Монаха кличут
Музыка, танцы и Бердичев...
Оковы лязгают... Москва...
Леса, снега и Енисей...
И покатились из очей
На рясу слезы... Бей поклоны!
Плоть стариковскую смиряй,
Писанье божие читай

---

[1] Звонковой называлась криница недалеко от [Межигорского] монастыря. *(Прим. Шевченко.)*

Под монастырские трезвоны,
А сердцу воли не давай.
Оно тебя в Сибирь водило,
Весь век тебя в обман вводило.
Сдави ж его, не вспоминай
Своей Борзны и Фастовщины.
Все смертны, и твоя кончина
Близка, тебя забудет свет...
И мыслям грустным он в ответ
Заплакал, книгу отодвинул.
Ходил по келии, ходил
И тяжко на скамью склонился:
«Зачем же я на свет родился,
Свою Украину любил?»

Уж колокол завыл бессонный,
Зовя к заутрене святой.
И встал чернец, заслыша звоны,
Надел клобук, взял посох свой...
И в храм побрел он — бить поклоны,
Молиться за свой край родной.

Павло Тычина

МОЛОДОЙ Я, МОЛОДОЙ...

Молодой я, молодой,
в жилах удаль заиграла.
Злая жизнь, вставай на бой, —
разомнемся для начала!

Злая жизнь, явись, дрожи!
Побежденной станет стыдно.
Кто из нас смелей, скажи, —
будет видно, будет видно.

Горе?.. боль? — снесу шутя.
Сила с юностью в содружье!
Всех врагов с пути сметя,
одолею без оружья!

Дайте, дайте мне ответ,
дорогие сестры, братья:
что вам в жизни застит свет?
Чем бы смог ваш дух поднять я?

Там, где мир весь обойму,
обезумевши от боли,
там никак вас не пойму,
не постигну вашей доли.

Молодой я, молодой,
в жилах удаль заиграла.
Злая жизнь, вступая в бой,
разомнемся для начала!

ПЕСНЯ ТРАКТОРИСТКИ

(Как Олеся Кулик
убегала на курсы в 1930 году)

Дым-дымок от машин,
как девичьи лета...
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Летом — вся работа в поле,
а как снег постлал постель,
я товарищей просила
записать меня в артель.

Ой, артель моя «Троянда»,
маркизет, мадаполам!
Вышивала я узоры
с тревогою пополам.

С тревогою — ну и странно!
С тревогою — вот смешно!
Только близко загрохочет,
так и высунусь в окно.

А оно ничуть не странно:
ведь меж наших вороных
стали кони попадаться,
непохожие на них.

Не травою их питают,
и овса такой не ест, —

они ходят, как летают,
заезжают в МТС.

Дым-дымок от машин,
как девичьи лета...
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Тут игла моя упала,
перепутался узор...
Я бежала, догоняла —
поглядеть на них в упор.

В МТС их все встречают,
обступают в тесный круг,
по плечам их с лаской треплют,
называют нежно: друг!

К трактору я протолкалась, —
ой, хороший! светлый мой!
Как мне хочется учиться,
чтоб вести его самой!

«Отпустите меня, мама,
ну, к чему такое зло?
Я ж на курсы трактористов —
я в Поповку, в то село!»

Мать с укором: «Бога бойся!»
Я в ответ ей: «Это ж стыд!
Долго ль будут меня мучить
ваши рясы да кресты?..»

Дым-дымок от машин,
как девичьи лета...
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Мать упорна: «И не думай!»
А я снова: «Убегу!»
Раз я раным-рано встала —
ни следочка на снегу.

В легоньком одном пальтишке,
в старом стираном платке
подалась я на Поповку,
что дымит невдалеке.

Только мост перебежала,
не бубенчики ль звенят?
Не по звону, а по песне
узнавала я ребят.

Перевились голосами
радостно да весело́!
«Что, курсантов не узнала?
Мы в Поповку, в то село!»

Я гляжу — себе не верю:
все свои, знакомые...
«Садись с нами, комсомолка,
и поедем, едем мы...»

Дым-дымок от машин,
как девичьи лета...
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

В юрте я сидел, гостюя, на коврах
у столетнего акына, у Джамбула,
когда сразу птицею сверкнула
радость телеграммою в руках —
крыльев взмах!
Украиною моей родной на всех пахнуло!

Все, кто рядом ели беш-бармак,
всполошились: что там? знать желаем!
В депутаты выдвинут ты краем?
Весть счастливая! чудесно! добрый знак!
И казах
перевел Джамбулу — и запел хозяин:

«Ой, домбра, Джамбулова домбра!
Обласкай поэта рокотаньем мерным,
песенным зерном осыпь отборным,
чтобы никогда не осушал пера
для добра,
чтоб слугой народа был он верным.

Ой, домбра моя — душевных две струны!
Помнишь ли о жизни нашей бедной?
А теперь мы все — хозяева страны,
счастливы и дочки и сыны!
Так звени —
славой партии — высокой и победной!»

Тут Джамбулу встал я и ответил:
«Разум, осветленный сединой!
Ты пшеничный колос, я — ржаной,
но один нас дождь
поил на свете,
всенародной мыслью день наш светел!

Ну, прощай, Джамбул! И степь, и ты, гора!
Мне проститься с вами, братья, время.
Вот уж сердце над горами теми —
У Тарасовой могилы, у Днепра.
Мне пора
быть, где зреет новой жатвы семя».

И, вернуться на Украйну поспешив,
вот я весь стою, как есть — здесь перед вами!
Сразу радости не выразишь словами!
В дни преддверья урожайных жнив —
всех объединив,
слава партии и в городах и над полями!

Карел Яромир Эрбен

ГОЛУБОК

Около погоста
Дорога глухая,
Шла по ней, рыдая,
Вдова молодая.

О своем супруге
Плакала, рыдала:
Она его навек
Туда провожала.

От панского дома
По травам, долинам
Едет панич в шапке
С пером соколиным.

«Не плачь, не печалься,
Вдовствуя, горюя,
Не тумань ты очи,
Слушай, что скажу я.

Ты свежа, как роза,
Забудь сердца рану!
Если муж твой умер,
Хочешь, я им стану».

День один рыдала,
На другой смолкала,
А на третий горе
Забываться стало.

С тех пор об умершем
Она позабыла:
Едва минул месяц —
К свадьбе платье шила.

Около погоста
С горы путь уклонный;
Едут по нем, едут
Жених с нареченной.

Веселая свадьба
Была среди луга;
Невеста в объятьях
Нового супруга.

Шумна была свадьба,
Музыка гремела;
Она к нему льнула,
На него глядела.

«Веселись, невеста,
вскинь голову выше:
Покойник в могиле
Не видит, не слышит.

Обнимай другого,
Нечего бояться:
Тесна домовина —
Мужу не подняться.

Милуйся, красуйся
Ликом набеленным:

Кого отравила —
Не встанет влюбленным!»

Бежит, бежит время,
Все собой меняет:
Что не было раньше,
Теперь наступает.

Бежит время мимо,
Год проходит тенью;
Одно неизменно:
Тяжесть преступленья.

Три года промчалось,
Как того не стало,
И его могила
Травой зарастала.

Трава над могилой,
В головах дубочек,
На дубовой ветке
Белый голубочек.

Голубок на ветке
Воркует, рыдает,
Каждому, кто слышит,
Сердце надрывает.

Не так другим людям
Слышны его стоны,
Как той, что рвет косы,
Вопит исступленно:

«Не воркуй, не гукай,
Не терзай мне уши:
Так тосклив твой голос,
Что пронзил мне душу!

Не тоскуй, не гукай,
Мутится мой разум,
Или так уж гукни,
Чтоб пропасть мне разом!»

Течет вода, льется,
Волна волну гонит,
Меж волнами что-то
Забелело, тонет.

То нога взметнется,
То плечо заблещет:
Женщины несчастной
Душа смерти ищет!

Вынесли на берег,
Тайно схоронили
Там, где две дороги
Накрест проходили.

Никакого гроба
Ей не стали делать,
Лишь тяжелым камнем
Придавили тело.

Не так тяжко камню
Лежать над ней кладью,
Как на ее имени
Вечному проклятью!

ВЕРБА

Утром, сев за завтрак ранний,
Муж спросил у юной пани:

«Друг мой нежный, друг мой милый,
Мы с тобой так дружно жили.

Мы с тобой так дружно жили, —
Тайн сердечных не таили.

Третий год уж вместе прожит,
Лишь одно меня тревожит.

Друг мой нежный, друг мой милый!
Сон твой скован странной силой.

С вечера свежа, румяна,
Ночью млеешь, бездыханна.

Ни дыханья, ни движенья —
Смертной тени выраженье.

Холодеет твое тело,
Словно въяве омертвело.

Даже детский плач не может
Пробудить тебя, встревожить.

Друг мой милый, свет мой ясный,
Может, недуг то опасный?

Если грозный недуг это,
Спросим мудрого совета.

В поле много трав полезных,
Помогающих в болезнях.

Если средства те не споры,
Есть заклятья, заговоры.

В сильном слове, в заговоре —
Кораблям защита в море.

Силой слов пожары тушат,
Свары гасят, горы рушат.

Слово звезды сдвинуть может,
И тебе оно поможет».

«Друг мой милый, муж любезный,
Все слова здесь бесполезны!

Что случилось от рожденья, —
Нету средств для исцеленья.

Что назначено судьбою, —
Не сменить ценой любою.

Без сознания на ложе
Отдаюсь я воле божьей.

Волей неба я незримо
В мертвых снах своих хранима.

Ночью мертвой я бываю,
Утром снова оживаю.

Вновь сильна встаю со светом,
Доверяясь небу в этом».

Зря так пани говорила:
Мужу мысли отравила!

Сидит бабка, дышит тяжко,
Воду льет из чашки в чашку.

Перед бабкой в тусклом свете
Муж у бабки на совете.

«Вещая! Открой попробуй, —
Как бороться с той хворобой?

Что тот недуг порождает,
Где душа жены блуждает?

Разгадай мне, сделай милость,
Что с супругой приключилось?

С вечера бодра, румяна,
Ночью ж вовсе бездыханна.

Ни дыханья, ни движенья —
Смертной тени выраженье.

Словно мрамор ее тело,
Будто вовсе омертвело».

«Если в снах она мертвеет,
Знать, душа далеко реет!

Днем с тебя очей не сводит,
Ночью ж в дерево уходит.

Знай, — над речкой под горою
Верба с белою корою.

Ветки желтые упруги —
В них душа твоей супруги!»

«Не такой жена мне мнилась,
Чтобы с вербою слюбилась.

Пусть жена живет со мною, —
Верба ж тлеет под землею».

Взял на плечи топорище,
Вербу ссек под корневище.

Тяжко над струей речною
Зашумела та листвою.

Зашумела, застонала,
Словно мать дитя теряло.

Словно мать дитя теряло,
Руки-ветви простирала.

Что у дома за собранье?
Не над мертвым ли рыданье?

«Смерть стряслась с супругой милой:
Как коса ее скосила.

Все ходила, хлопотала,
Вдруг, как гром убил, упала.

Пошатнулась, застонала,
Руки к люльке простирала!»

«Ох, беда, беда ты злая!
Сам жену убил, не зная.

И дитя порою тою
Сам я сделал сиротою!

Ой, ты верба белоствольна,
Ревновать тебя довольно.

Отняла полжизни целой:
Что с тобой теперь нам делать?»

«Подними меня из глуби,
Желты ветви мне отрубишь.

Прикажи из прутьев тонких
Колыбель сплести ребенку.

Уложи дитя в корзинку,
Пусть не плачет, сиротинка!

Станет в ней оно качаться —
Тела матери касаться.

У ручья посадишь прутья,
Не сломать чтоб, не погнуть их.

Подойдет дитя к посаде,
Выросши, свирельку сладит.

Зазвучит свирель, задышит —
Голос матери услышит».

ЗОЛОТАЯ ПРЯЛКА

1

Около леса поля клин,
Едет там пан без слуги, один,
Едет, бодрит вороного коня,
Конь горячится, подковой звеня,
Едет один.

Перед избушкой — поводья из рук,
В дверцы избушки: стук, стук, стук!
«Эй, отворяйте двери скорей,
Я заблудился на ловле зверей,
Дайте напиться!»

Вышла девица — вешний цвет,
Краше такой и не видел свет;
Вынесла воду студеную,
Села у прялки, смущенною,
Стала прясть лен.

Пан уж не помнит, о чем и просил,
Всю свою прежнюю жажду забыл;
Тянется пряжа, нитка блестит,
Глаз не может он отвести
От пряхи прекрасной.

«Люб ли, ответствуй, тебе кто иной?
Хочешь ли стать моею женой?» —

Девушку обнял он сильной рукой.
«Ах, воли нет у меня никакой,
Лишь матушки воля».

«А где же матушка, скажи, твоя?
Здесь никого нет, кроме тебя».
«Пан, я у матери неродной,
С дочкой придет она завтра домой,
В городе нынче».

2

Около леса поля клин,
Едет там, едет пан один,
Едет, бодрит вороного коня,
Конь горячится, подковой звеня,
Прямо к избушке.

Возле избушки — поводья из рук,
В двери избушки: стук, стук, стук!
«Добрые люди, впустите скорей,
Пусть мои очи увидят скорей
Радость мою!»

Вышла старуха, кожа да кость:
«О, с чем к нам прибыл почтенный гость?»
«Явился я в дом как на праздник большой —
Дочь твою сделать хочу я женой,
Ту, неродную».

«Ой же, паночку, дивно слыхать!
Кто б в то поверил, если сказать?
Низко вам кланяюсь, гость дорогой,
Все ж я не знаю, кто вы такой?
Как пан попал к нам?»

«Князь-господин я этой земли,
Случай и жажда меня привели,
Дам тебе много казны золотой,
Дочку свою ты мне выдай за то,
Пряху-красотку».

«Князь-господин, что пришлось услыхать,
Кто б в то поверил, если сказать?
Нету у нас никаких заслуг,
Чтоб к нам склонились взоры и слух
Милости вашей.

Все же обычай должно блюсти:
Раньше родную к венцу вести;
Кстати, и схожи они во всем,
Словно два глаза во лбу одном,
Нити шелковы!»

«Плох же обычай, старуха, твой!
Выслушав, помни приказ прямой:
Завтра, лишь неба засветится край,
Дочь неродную свою провожай
В княжеский замок».

3

«Вставай, дочурка! Проснулся мир,
Князь ожидает, готовят пир;
Все бы могла я предполагать,
Только не то, чтоб тебе пановать
В самой столице!»

«Одевай, дорогая сестрица, наряд,
Княжеский замок велик, богат;
Ох, высоко ты стала летать,
Меня оставила здесь прозябать,
Ну, будь счастлива!»

«Идем, Дорничка, поспешим,
Не провиниться б пред князем твоим;
Ты лишь опушку леса пройдешь,
Про дом не вспомнишь и не вздохнешь,
Идем скорее!»

«Матушка, мама, дозвольте спросить,
Зачем вам нож этот в лес уносить?»

«Нож этот вострый — в чаще как раз
Гадюке злобной выколем глаз, —
Идем, скорее!»

«Сестра, сестрица, позволь спросить,
Зачем топор вам в лес уносить?»
«Топор тот острый — в темном лесу
Лютому зверю башку снесу, —
Идем, скорее!»

Когда ж зашли они в чащу, в кусты:
«Гад этот — ты, и зверь этот — ты!»
Горы и долы туманились,
Видя, как обе расправились
С бедной сироткой.

«Мы очи ей выкололи, мать,
Куда ее ноги и руки девать?»
«Не зарывай их в лесной тени,
Как бы опять не срослись они —
Возьмем их с собою».

Вот уж за ними лесов стена:
«Бояться ты, дочь, ничего не должна!
Вы ведь схожи с нею во всем,
Как око с оком во лбу одном, —
Не опасайся!»

Вот уж столица стала видна,
Князь поджидает их у окна,
Вышел с придворными на крыльцо,
Целует невесту, глядит ей в лицо,
Обмана не чуя.

И была свадьба — великий грех,
С губ у невесты не сходит смех;
Сплошь заварились балы да пиры,
Пляски да игры до поздней поры
Все семидневье.

Только восьмой день занялся,
С войском князь в поход собрался:

«Слушай ты слово мое, госпожа, —
Еду я с войском моим поражать
Недруга злого.

Когда закончится славой поход,
Опять любовь наша расцветет!
Ты же, пока я буду в пути,
Добрую прялку приобрети, —
Дома сидя, пряди!»

4

В глухой, в темной чаще лесной
Что же там сделалось с сиротой?
Шесть животворных ручьев текло,
Чистых, прозрачных, словно стекло,
На мху зеленом.

Блеснул ей счастья внезапный луч,
Но скрыла смерть его тьмою туч;
Не стало дыханья, жизни следа,
Беда настигла ее, беда, —
Князь бы то видел!

Но вдруг из окрестных лесистых скал
Старец чудесный поднялся, встал;
Сед он и сив — до земли борода,
На руки взял он ее и тогда
Скрылся в пещере.

«Дитятко, слушай: спеши к молодой,
Стан прядильный возьми золотой,
Его в столицу ты отнеси,
Иной цены за него не проси,
Только ноги две».

Мальчик у башни сидит в воротах,
Стан золотой держит в руках.
Княгине в окно случилось глядеть:
«Ах если б тот стан золотой мне иметь —
Жаркого золота!»

«Маменька, выйдите разузнать,
Сколько за это сокровище дать?»
«Эй, госпожа! Я его продаю.
Отец назначил цену свою:
За две ноги лишь».

«За ноги? Это неслыханно ведь!
Все ж я желаю стан тот иметь.
Маменька, отмыкайте запоры,
Выньте там ноги погубленной Доры,
Дайте ему их!»

Мальчик в уплату те ноги взял,
С ними обратно в лес убежал.
«Мальчик, подай мне живой воды,
Чтоб от рубцов не остались следы, —
Как не бывало!»

Вот рану к ране он плотно прижал,
По жилам живой огонь пробежал,
И затянулись рубцы на теле,
Как будто ноги не омертвели,
Без поврежденья.

«Возьми, мой мальчик, в углу на лавке,
Там колесо золотое от прялки,
В столичный город его неси,
Иной цены за него не проси,
Как две руки лишь».

Мальчик у башни сидит в воротах,
Жар-колесо держит в руках.
В окне мелькнуло княгини лицо:
«Ах, как бы кстати мне то колесо
К золотой прялке!»

«Выйдите, маменька, на крыльцо,
Сколько он хочет за колесо?»
«Эй, покупайте дешевой ценой!
Платы отец не назначил иной,
Как две руки лишь».

«За руки? Это неслыханно ведь!
Все ж колесо я желаю иметь.
Маменька, отмыкайте запоры,
Выньте там руки загубленной Доры,
Дайте ему их!»

Мальчик те руки в уплату взял,
С ними поспешно в лес убежал.
«Дитятко, дай мне живой воды,
Чтобы от ран затянулись следы, —
Как не бывало!»

Он рану к ране тесно прижал,
По жилам живой огонь пробежал,
В одно мгновенье срослося тело,
Как будто вовсе не омертвело,
Без поранений.

«Сбирайся, мальчик, пора давно,
Вот золотое веретено,
Его в столицу ты отнеси,
Цены иной за него не проси,
Только два глаза».

Мальчик у замка сидит в воротах,
Веретено золотое в руках.
Стала княгиня в окно глядеть:
«О, как хочется мне иметь
То веретенце!»

«Спросите, маменька, какой ценой
Ценит он это веретено?»
«Отца оценка веретена —
Пара очей вся его цена,
Всего два глаза».

«Пара очей? То неслыханно ведь!
А кто отец твой, дитя, ответь?»
«Нельзя увидеть отца моего,
Кто б ни искал — не отыщет его,
Пока сам не явится».

«Матушка милая! Как же мне быть?
Веретено мне нужно купить.
Идите откройте скорей затворы,
Лежат там очи убитой Доры,
Ему отдайте!»

Мальчик очи бережно взял,
С ними обратно в лес убежал.
«Подай мне, мальчик, живой воды,
Пускай исчезнут от ран следы, —
Как не бывало!»

Очи в глазницы он положил,
Огонь погасший в зрачках ожил.
Девушка молча взглянула, встала
И никого близ не увидала,
Кроме себя лишь.

5

Вот трехнедельный срок истекает,
Князь из похода домой приезжает:
«Как поживаешь, моя княгиня,
Держишь ли слово мое в помине,
Прощальное?»

«Ах, я на сердце его хранила,
Вот поглядите-ка, что я купила:
Золото прялки блестит на солнце —
Стан, колесо и веретенце,
Все из любви к вам».

«Будь же любезна, княгиня, — присядь,
Нить золотую в прялке приладь».
Княгиня за колесо присела,
Только крутнула, вся побледнела —
Ужасный напев!

«Вррр — из зла ты свиваешь нить!
Князю сумела ты навредить:

Сестрицу сводную ты загубила,
Ноги и руки ей отрубила.
Вррр — зла та нить!»

«Что это прялка гулко поет?
О чем колеса шумит оборот?
Ну-ка, княгиня, крутни опять,
Чтоб эту песню нам разгадать,
Пряди, княгиня, пряди!»

«Вррр — из зла ты свиваешь нить!
Ты разум князя хотела затмить:
Сгубила подлинную невесту,
Чтобы самой сесть на ее место.
Вррр — зла та нить!»

«Ох, эта песня нехороша!
Неужто то правда, моя душа?
Крутни, госпожа моя, в третий раз,
Чтоб знать мне правду всю без прикрас,
Пряди, княгиня, пряди!»

«Вррр — из зла ты свиваешь нить!
Обманом хочешь счастье добыть:
Сестра твоя в чаще, в пещере скал,
Любимый ее тебе мужем стал.
Вррр — зла та нить!»

Как только слова те князь услыхал,
Вскочил на коня и в лес поскакал,
Искал и кричал, по лесу мчась:
«Ответь, моя Дорничка, где ты сейчас?
Где ты, любимая?»

6

От леса к городу ширь полян,
Едут там, едут с пани пан,
Едут, бодрят вороного коня,
Конь горячится, подковой звеня,
Едут в столицу.

И начиналась свадьба опять,
Время невесте цветком расцветать;
И были празднества да пиры,
Утехи и пляски до поздней поры
Все три недели.

А что ж с той матерью, со старухой?
А что же с той дочерью, со гадюкой?
Ой, воют четверо волков в лесу,
У каждого в пасти нога на весу
От двух женских тел.

Очи застлала им черная ночь,
Руки и ноги отрублены прочь:
Как над сироткой они надругались —
Того над собой и сами дождались
В лесу дремучем.

А что ж с той прялочкой золотой?
Дальнейших песен напев какой?
Как в третий раз напев проиграл,
Так прялки с тех пор никто не слыхал
И не увидел!

ДОЧЕРНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ

«Отчего мрачна ты стала,
Дочь моя?
Отчего мрачна ты стала —
Радостной всегда бывала,
А теперь замолк твой смех?»

«Я сгубила голубенка,
Мать моя!
Я сгубила голубенка —
Беззащитного дитенка, —
Белым был он, словно снег!»

«Это был не просто птенчик,
Дочь моя!
Это был не просто птенчик, —
Слишком лик твой стал изменчив
И потуплен долу взор!»

«Я дитя свое убила,
Мать моя!
Я дитя свое убила,
Плоть родную загубила, —
Горе гнет меня с тех пор!»

«Что ж теперь ты делать станешь,
Дочь моя?
Что ж теперь ты делать станешь,
Чем беду свою поправишь,
Чтобы гнев небес смягчить?»

«Я пойду теперь скитаться,
Мать моя!
Я пойду теперь скитаться —
Поищу травы-лекарства,
Чтобы душу облегчить!»

«Где ж растет такое зелье,
Дочь моя?
Где ж растет такое зелье,
Чтоб вернуть душе веселье?
За оградою какой?»

«Там в воротах со столбами,
Мать моя!
Там в воротах со столбами,
С прочно вбитыми гвоздями,
С конопляною петлей!»

«Что ж сказать мне молодому,
Дочь моя?
Что ж сказать мне молодому,
Что ходил так часто к дому
И с тобою счастлив был?»

«Передай благословенье,
Мать моя!
Передай благословенье
За обман, за обольщенье
И за то, что изменил!»

«А с любовью материнской,
Дочь моя?
Что с любовью материнской,
Самой нежной, самой близкой,
Что, как воск, мягка была?»

«Над тобой мое проклятье,
Мать моя!
Над тобой мое проклятье,
Что изменнику в объятья
Волю кинуться дала!»

ВОДЯНОЙ

1

Над затоном, на тополе
Водяной шил-приштопывал:
　　«Месяц, свет лей,
　　Моя нить, шей.

Я сошью себе ботинки
И для суши и для тины:
　　Месяц, свет лей,
　　Моя нить, шей.

С четверга да на пяток
Сошью себе кожушок:
　　Месяц, свет лей,
　　Моя нить, шей.

Кожух зелен, боты ярки,
Завтра к свадьбе мне подарки:
　　Месяц, свет лей,
　　Моя нить, шей».

2

Рано де́вица утром встала,
В узелок белье завязала:
«Пойду, матушка, на запруду,
Я платки себе стирать буду».

«Не ходи ты, дочь, на запруду,
Нынче сны мои были к худу!
Не ходи ты лучше к плотине,
Оставайся-ка дома ныне.

Жемчуга я во сне сбирала,
В белый плат тебя обряжала,
Пенной кипени был исподник, —
Не ходи ты к воде сегодня.

Бело платье сулит несчастье,
Жемчуга — беду в одночасье,
День негожий — пятница ныне,
Не ходи ты, дочка, к плотине».

Только дочери не сидится,
На запруду она стремится,
Точно чьей-то рукой влекома, —
Не желает остаться дома.

Намочила первый платочек,
Подломился под ней мосточек.
Над девицею молодою
Закрутило круги водою.

Захлестнулись над нею волны,
И простор затянулся водный.
А на тополе, на затоне
Водяной заплескал в ладони.

3

Невеселый, неприютный
Край подводный, зыбкий,
Где меж стеблями кувшинок
Лишь мелькают рыбки.

Здесь ни теплый луч не греет,
Ветерок не веет,

Словно в сердце безнадежном
Сумрак холодеет.

Невеселый край подводный,
Призрачные струи:
В полутьме и в полусвете
День за днем минует.

Водяного двор просторен,
В нем богатства вдосталь,
Но туда лишь поневоле
Заезжают гости.

Кто в хрустальные ворота
Раз войдет единый,
Никогда тому не встретить
Больше взор родимый.

Водяной сидит в ·воротах,
Сети починяет,
А жена его, молодка,
Дитятко качает.

«Баю-баю, мой малютка,
Сын мой бесталанный,
Ты смеешься беззаботно,
Я ж — от горя вяну.

Ты за материнской лаской
Тянешь ручки обе,
Мне же лучше б оставаться
На земле во гробе.

Там, у церкви за оградой,
Под крестом дубовым
Я была бы по соседству
С материнским кровом.

Баю-баю, мой родимый,
Водяной малютка.
Мать приходит мне на память
Каждую минутку.

Как она меня мечтала
Выдать замуж честно,
Но безвестно я пропала,
Сгинула, исчезла!

Вот и вышла дочка замуж
Без венчанья в храме:
Были сваты — черны раки,
Рыбы — шаферами.

Муж мой ходит — спаси боже!
Мокрый и по суше,
Под водою прячет в крынки
Человечьи души.

Баю-баю, мой сыночек
Зеленоволосый,
Матери любви с тем мужем
Знать не довелося.

Обманута, опутана
В коварные сети,
Только мне и утешенья —
Ты один на свете».

«Ты что поешь, жена моя?
Хуже нет напева!
Ты меня проклятой песней
Доведешь до гнева.

Не пой этак, жена моя!
Кипит во мне ярость:
Превращу тебя я в рыбу,
Как с другими сталось!»

«Не спеши, супруг подводный,
Расточать угрозы!
Не ругай ты загубленной,
Растоптанной розы.

Ты сгубил меня в расцвете
Молодости ранней,
Ни с одним ты не считался
Из моих желаний.

Я сто раз тебя молила,
Ласково просила
Отпустить хоть на часочек
К матушке родимой.

Я сто раз тебя просила, —
Слез не стало литься, —
Мне позволить в раз последний
С матерью проститься.

Я сто раз тебя молила,
Павши на колени,
Но в твоем обросшем сердце
Нету сожаленья!

Не сердись и не ярись ты,
Господин подводный,
Или рассердись и сделай,
Чем грозил сегодня.

Но угрозу ту свершая,
Преврати — не в рыбу,
А, чтоб памяти лишилась, —
В каменную глыбу.

Преврати меня ты в скалы
Подводные эти,
Чтобы я не тосковала
О солнечном свете».

«Рад бы я, жена, послушать
Жалобное слово,
Только — пустишь рыбку в море, —
Как поймаешь снова?

Из подводного тебя я
Отпустил бы царства,
Да боюсь уловок хитрых,
Женского коварства!

Так и быть уж, отпущу
Я тебя на сушу:
Только будь и ты верна
И послушна мужу.

Никого не обнимай,
Даже матки родной,
А как смеркнется, опять
Будь в стране подводной.

От утрени до вечерни
Срок тебе дается.
А для верности — дитя
Здесь пусть остается».

4

Как бы стать поре весенней
Без солнышка яркого?
Что бы было за свиданье
Без объятья жаркого?
И когда родной при встрече
Вскинет руки дочь на плечи,
Чье же сердце черствое
Ласке не потворствует?

День-деньской с родимой плачет
Водяница рядышком:
«Ах, мне больно расставанье,
Страшен вечер, матушка!»
«Ты не бойся, дорогая,
Отпугну того врага я,
И не дам ему в обиду
Я родное чадушко!»

Свечерело. Муж зеленый
По двору слоняется.
В клеть с засовом мать и дочка
Крепко запираются.
«Дорогое мое чадо,
Ты не бойся злого гада:
Над тобой его на суше
Власть не простирается».

Лишь к вечерне отзвонили, —
Грохот в дверь наружную:
«Эй, жена! Домой сбирайся,
Я еще не ужинал!»
«Уходи, злодей, с порога,
Скатертью тебе дорога,
Убирайся, душ губитель,
В свой затон запруженный!»

В полночь — снова грохот в двери,
Снова им повелено:
«Эй, жена! Домой сбирайся,
Время стлать постелю мне».
«Прочь, нечистый, от порога,
Скатертью тебе дорога:
Привыкай, как раньше спал,
Спать на тине-зелени!»

На рассвете — снова грохот,
Уж заря поляны ро́сит:
«Эй, жена! Пора до дому:
Малый плачет, груди просит!»
«Ах, родимая! Мне жутко,
Там остался мой малютка.
В царстве злого водяного
Жалко мне сыночка бросить!»

«Не ходи, моя родная!
Вражья речь изменчива.
Ты печешься о дитяти —
О тебе не меньше я»

«Уходи, злодей несытый,
Если плачет, — принеси ты,
Положи дитя к порогу, —
Поручи нам, женщинам».

Над затоном воет буря,
В буре крик вздымается:
Детский плач, пронзивши душу,
Сразу обрывается.
«Ах, родная! Страшно, жутко,
Это плачет мой малютка,
Это — мщенье водяного
Надо мной сбывается!»

Что-то падает. Под дверью
Струйка крови алая.
Дверь в испуге открывая,
Мать бледнеет старая.
Сердце ей сжимает ужас:
Перед ней средь алых лужиц —
Безголового ребенка
Стынет тельце малое!

Ян Неруда

БАЛЛАДА О ПОЛЬКЕ

Шум и гомон на деревне. Это полька в сани села.
Вороные кони в пене, сбруя в лентах закипела.
Вкруг нее и плеск и радость, как ручьи весною ранней,
Смех, и пляска, и веселье, и народа ликованье.
Села в сани — стройность в стане, в дальний город хочет
ехать.
«Добрый путь! Счастливой встречи!» — ей вослед
струится эхо.
Пусть увидят горожане, что деревня им прислала:
«Руки в боки, ноги в скоке, пусть их вскружит вихорь
бала!»
Это только — едет полька!

Снег сверкает, бич мелькает, — вот так скорость, вот так
скачка!
Свист летит из-под полозьев, ожила лесная спячка,
Камни под гору скатились вниз тропинкою кривою,
И гора, плечо поднявши, в такт качает головою.

Вот какая эта полька! Есть ли в мире лучше танец,
Чтоб глаза зажег о звезды, чтобы с роз сорвал румянец?!
У нее в крови веселье и горит и не сгорает,
И задор неугомонный каждой жилкою играет.
Это только — мчится полька!

Поздно вечером вкатили кони в пригород с разлета.
О, как грустно здесь под вечер: глухо замкнуты ворота,
Нет на улице ни тени, в переулках нет ни звука,
Серым саваном тумана завалила город скука.
Полька спрыгнула на землю: «Что ж хозяин
не встречает?
И дверей гостеприимных мне никто не открывает?»
Подошла к закрытой ставне, постучала в бревна сруба.
«Принесло еще кого там?» — изнутри ей голос грубо.
«Это только — едет полька!»

«Эй, жена! У двери полька! Привечай ее под кровом,
Нужно эту гостью встретить ясным взглядом, добрым
словом.
Мы с тобой молодожены, мы не любим тихой грусти,
В наших стенах дышат дудки, в потолке играют гусли,
Печь гудит у нас фаготом, двери звонки, словно скрипки,
Принимая эту гостью, мы не сделаем ошибки.
Обеги, жена, скорее околоток весь соседний,
Созывая без разбору всех — богатый или бедный.
Молви только: «В доме — полька!»

Целый город хлынул к польке, как ручей весной
по склону.
Снял богач пред нею шляпу и король свою корону.
Глядь — уж их сиятельств в танце веют локонов колечки,
Йозефик кружится с Качкой, Тоник кинулся к Анѐчке.
Гей, смелее! Гей, быстрее! Все в движенье, все танцует.
Это явь или виденье? Печка скачет, ног не чует!
Стены пляшут, двери машут, семенят скамеек ножки.
Бревна стен качает танец, на загнетке пляшут плошки,
Это только — вьется полька!

ПО СТОПАМ ЛЬВА

Был вечер необычной тишины...
Феллахи, что всегда возбуждены,
Молчат у стен сегодня, присмирев.
«Что с вами, други?» — «Господин, здесь — лев!»
«Лев? Где, когда?» — «Нам этот срок неведом,
Но весь песок его испятнан следом,
И каждый чувствует — от страха тих и слаб —
Там, где-то за спиной, движенье тяжких лап!»

О да! Я чувствую. Из чешского я края,
И эту странную взволнованность я знаю:
Когда особенно я горд и важен был, —
Внезапный холод сердце мне стеснил.
Как будто оклик гор гремел, от кряжей прянув:
«Что делаешь ты здесь, малыш, средь великанов?»
«Ты слишком слаб», — гремел мне гром из туч.
«Ты слишком слаб», — звенел мне горный ключ.

Хоть мы не связаны и ходим на свободе,
Но холод на душе, и темнота в природе.
И песня смутная, чей звук, взлетев, затих,
Исчезла в синеве среди небес пустых.
И в подсознания таинственную связь
Проникла та же робкая боязнь.
Томимы голодом, мы жмемся к голым скалам,
Со псами схожие зубов своих оскалом.

Как и в пустыне той, где лев прошел в песках,
Мы дышим в Чехии — в безволия тисках.
Лишь раз народ воспрянул, точно лев,
Лишь раз один его раскрылся зев,
И ждет земля с тех пор, чтобы дыханьем сжатым
Вновь содрогнуться пред его раскатом,
И преклоняется, и гнется, как трава,
Пред волей львиною. Здесь — государство льва.

ПОСЛАНИЕ К СЛОВАКИИ

Словакия, слушай! Родимая плачет.
А песнь твоя птицей нагорной маячит.
Родимая кличет: «Где, дочь моя, где ты?»
«Уж я не твоя», — раздается в ответ ей.
Кто слез материнских не чует, не слышит,
Чье сердце на зов ее холодом дышит
И кто на призывы ее не ответит, —
Тому даже солнце пути не осветит!

Как матери-родины сумрачны дали!
Как руки ее от труда исхудали!
Как ветер ей в рубище холодом дует!
Неужто и это тебя не волнует?
Позор, кто без помощи мать свою бросит!
О милости больше она не попросит.
Но нынче протянуты слабые руки:
«Иди ко мне, дочка, утишь мои муки!
Ты, добрая, жить на чужбине не станешь,
Иначе в разлуке от горя увянешь».

Бедна ты, но юность не сломишь нуждою,
Идешь ты и песней звенишь молодою, —
Неужто же к матери сердце не склонишь,
И с темного лика морщины не сгонишь?
Быть может, в нужде истомив свое тело,
Сестра наша, в гордости ты очерствела?

Ты — самая бедная в нашем семействе,
Но жили мы вместе и мучились вместе,
И как бы нам ни было горько и плохо —
Мы братья твои до последнего вздоха,
И мало ли ран было принято нами,
Когда мы тебя защищали телами!

Неужто, сестра, не услышишь ты зова
И замуж, смирившись, пойдешь за чужого?
Ну что же! Мы счастья тебе пожелаем.
Но в небе закаркали жадные стаи,
Готовы напасть, исклевать твои очи,
И тучи на западе хмурятся к ночи.
Нет, прежде чем стан твой от горя согнется,
Над Татрами голос судеб пронесется.
И спросит орел твой, взвиваясь к зениту:
«Лететь ли мне с братьями вместе на битву,
Иль, с коршуном низко паря после боя,
Клевать помертвелые очи героя?»
Словакия! Сердце ты рвешь мне, пугая.
Храни тебя небо, сестра дорогая!

ЗАРЯ С ВОСТОКА

О человечество! Сон твой столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе,
Близок к свершенью: проблеск рассветный
Брезжит с востока — ночь на исходе!

Шапки с голов! Преклоните колени!
В грудь ударяйте себя кулаками!
Светоч славянства за все прегрешенья
Ныне ходатайствует перед веками.

Бог создавал человека, а люди
Каина — родоначальника злобы;
Братоубийства и рабства орудья
Каин исторг из змеиной утробы.

Волны людские, спокойные прежде,
Мирно о счастье и радости пели;
Ныне они взбушевались, вскипели
Горем и гибелью всякой надежде.

Братья на братьев глядят одичало,
Племя на племя с враждою восстало;
Жажда господства, насилья и спеси
Глушит людские высокие песни.

Выросши, словно камыш у потока,
Стал славянин в удивленье взирать,
Как бы ему в этой буре жестокой
Чести и разума не потерять.

Вы в него грязною пеной плевали,
Думали племя его извести,
Вы его корни, кипя, подрывали,
Вы его стебли сметали с пути...

В грудь ударяйте себя кулаками!
Кайтесь! Пусть слезы польются из глаз!
Светоч славянства перед веками
Нынче ходатаем будет за вас.

Самое небо тоскует и тмится,
Что человечество давней мечтой —
Сном о свободе — извечно томится,
Искру ее растоптав под пятой.

Лишь у славянства стремленье к свободе
Солнечной силой таится в груди,
Светом негаснущим в нашем народе,
Ставшем народов других впереди.

Волю чужую не гнет он дугою,
Зря он не тратит воинственный пыл;
Море людей расплескал под ногою,
Если б в него он с размаху ступил.

Но не тревожьтесь! Мы все не расплещем,
И хоть к славянству в вас склонности нет,
Хоть и коситесь вы взором зловещим, —
Мы возвещаем не ночь, а рассвет.

День этот против насилья и гнета,
Против пресыщенности и нищеты,
Против того, чтобы страх и забота
С детства людей искажали черты.

День этот против безумья богатства,
Днем этим встанет весь мир, осиян
Светом свободы, довольства и братства,
Вложенным в ясные души славян.

Если славянство встало на страже,
Кто нарушителем мира ни будь,
Как бы он ни был хитер и отважен, —
Грудь разобьет о славянскую грудь.

О человечество! Сон твой столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе
Близок к свершенью: проблеск рассветный
Брезжит с востока — ночь на исходе!

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Мы родились под бури грохотанье.
К великой цели пламенно стремясь,
Проходим шаг за шагом испытанья,
Лишь пред своим народом преклонясь.
Мы все, что с нами будет, ожидали,
Мы не страшились бури и невзгод,
Мы с чешскою судьбой себя связали, —
И с ней вперед, и только лишь вперед!

С народом нашим, что так чист и светел,
Как будто только что сейчас рожден,
Который сам судьбу свою наметил
И защищал ее во тьме времен.
За вольность человечью, что когда-то
Здесь расцвела, — как встарь стоит народ,
Мы гибли за нее, но — верим свято:
Она прославит нас, ведя вперед!

Вперед! Мы делом каждый час отметим,
Ведь новый день — для нового труда,
Хоть слава предков — украшенье детям,
Но славой сам укрась свои года!
Где настоящее дитятей плачет,
Там только древность отблеск славы льет,
Едва корабль жемчужный след означит —
Все к парусам, и только лишь вперед!

Прочь в сторону, кто трусит и вздыхает,
Чья дрогнула от трудностей рука!
Ведь роза и тогда благоухает,
Когда над ней толпятся облака.
Долой того, кто дремлет у кормила:
Промедливший мгновенье — отстает,
Прошедшего ничья не сможет сила
Вернуть назад. Вперед, всегда вперед!

Над нами солнце, как везде, сияет,
И день встает за ночью, как иным,
Но к мужеству эпоха призывает:
Где вы, мои свободные сыны?
К нам, к нам прихлынь, бессмертия отвага,
Плечо к плечу сомкни за взводом взвод,
Расправь полет приспущенного флага,
Стремясь вперед, и только лишь вперед!

Не знаем мы, что в будущем таится,
Но непреклонен чешской воли дух,
И, чтоб победой новой огласиться,
Достаточно широк наш чешский луг.
И если гром сраженья снова грянет,
Гуситский гимн иной размах возьмет,
В стране железа все оружьем станет,
В крови железо зазвучит: вперед!

Следите ж за движеньем корабельным,
О чехи — гвозди, скрепы корабля!
Да сохраним его большим и цельным,
Чтоб засияла чешская земля!
Но если б все насытились желанья
И стал бы светел чешский небосвод, —
Как нет людскому морю затиханья,
Так будь и ты готов для испытанья,
Вперед, народ наш дорогой, вперед!

Федерико Гарсиа Лорка

ЭТО ПРАВДА

Ах, какой же это подвиг —
Полюбить тебя, как я!

Все теперь источник боли —
Воздух, сердце и сомбреро — для меня.

Кто возьмет и купит ленту
И моей печали пух,
Чтоб вернулась в мир платками
Пряжа белая моя?

Ах, какой же это подвиг —
Полюбить тебя, как я!

АРЕСТ АНТОНЬИТО ЭЛЬ КАМБОРЬО НА СЕВИЛЬСКОЙ ДОРОГЕ

Антоньо Торрес Эредья —
Камборьо по росту и виду —
Шагает с ивовой палкой
В Севилью, где нынче коррида.

Смуглее луны зеленой,
Он чинно и важно шагает;
Его вороненые кудри
Глаза ему закрывают.

Беспечный, на полдороге
Нарезав лимонов спелых,
Он ими швырялся в воду,
Ее золотою сделав.

Беспечный, на полдороге
Он взят был почти задаром;
Ему закрутили руки
Крест-накрест назад жандармы.

*

День медленно отступает:
Как тореадор, небрежно
Плащом перебросил вечер
И машет им над побережьем.

Оливы давно томятся
И жаждут ночной прохлады,

И бриз к ним летит, как всадник,
И горы ему — не преграды.

Антоньо Торрес Эредья —
Камборьо по росту и виду —
Среди пяти треуголок
Идет, стерпевши обиду.

Антоньо, тебя подменили?
Ведь, будь ты Камборьо вправду,
Здесь сразу б пять струй кровавых
Фонтаном брызнули кряду!

Нет, не цыганский сын ты,
Не настоящий Камборьо!
Видно, цыган не стало —
А знали бесстрашных горы.

Ножи их покрыты пылью,
Ненужные год от года...
Его под вечер, в девять,
Встречают тюремные своды.

Меж тем лимонад жандармы
Пьют и вкушают отдых.
Его под вечер, в девять,
Скрывают тюремные своды.

Меж тем отливает небо,
Как конский круп после бега.

Самед Вургун

ПАМЯТЬ

Ты мне говорила, расставаясь:
«Не вернуть в гнездо тебя, мой аист!»
Много лет прошло с тех давних пор,
Много раз тебя искал мой взор.
Если рассказать про все, что было,
На бумаге выцветут чернила.
Да и как сказать, про что начать?
В книге жизни — мелкая печать.

Города меня в объятья взяли,
Но цветут у памяти вначале
Ручейковых струек повторенье,
Веянье акаций и сирени,
Золотого колоса поклон,
Муравою выстеленный склон,
Вешних трав туманное куренье,
Вешних звезд неясное горенье —
Все бежит передо мной гурьбою,
Что могло бы стать моей судьбою,

Да еще глаза мои влекли
Тянущие к югу журавли...

Треск огня и дым родного дома —
Как все это близко и знакомо!
Сырость хаты, дерево тахты,
Бедной жизни мелкие черты.
Нежный перезвон родного саза,
Как тебя узнать я мог бы сразу —
Тихую столетнюю судьбу,
Легшую на материнском лбу!
Эту жизнь я бросил за собою,
Что могла бы стать моей судьбою.

Ты мне говорила, расставаясь:
«Не вернуть в гнездо тебя, мой аист!»
Долго-долго, много лет подряд
Те слова в груди моей горят.
С губ твоих они всё раздаются,
С губ твоих то плачут, то смеются,
С губ твоих, горячих и поблекших,
Прямо в сердце, прямо в душу легши,
Песню, сердце, силу, жизнь бодрят
Много весен, много зим подряд.

Матери остывшее объятье,
Нет, не мог с тобою потерять я
Звона песни, сердца чистоты,
Если в сердце оставалась ты!
Буря, прочь от этого порога!
Вот гляди, как я запомнил много,
Как сквозь боль, и скорбь твою, и тьму
Я стремился к сердцу твоему.

Мой привет летит к тебе с дороги,
Мой привет тебе поклоном в ноги.
Мой привет струится по ночам
По скользящим месяца лучам.
Мой привет тебе, моей любимой,
Мой привет летит к тебе сквозь дымы,
Мой привет тебе, без слов понятный, —

Той, кого времен не тронут пятна.
Мой привет веселью этих дней,
Жизни светлой, совести моей!
Ты же, видящая эти дни,
Голос свой с моим соедини.

Подмети наш двор и домик бедный.
Не пропал я, не погиб бесследно.
Пусть соседи к нашим льнут воротам
Поздравлять тебя с моим приходом,
Говорить, что матери примет
Много носит на себе поэт!
Ты — моя природа и искусство,
Без тебя бы сердце было пусто.
Будь благословенно, молоко,
Брызнувшее песней далеко!
Будь благословенна навсегда,
Давшая мне силы для труда!

Сядь со мною, мать моя, поближе:
Пусть нам будет шелестящей крышей
Дерево любимое одно —
Дерево страны моей родной...
Чтоб под этим густолистым скатом
Новый день смеялся над закатом.
Пусть читают все, что напишу,
Всё, что в сердце с детства я ношу.
Чтобы встал до самых легких облак
Твой высокий, драгоценный облик.
Чтобы быть последним злому дню,
Дню, в который клятве изменю.

Ованес Шираз

ПОСЛЕДНИЙ ОБЛОМОК

Где берег струей Арпачая размыт —
Прошедшего слава померкшая спит.
Продавленный купол травою зацвел,
И крест, как ружейный заржавленный ствол.
Обветренный камень сорвался, шурша,
Как будто от стен отлетает душа.
В ущелье же — рев торжествующих вод
Песнь смерти ему неумолчно поет,
И купол, услышав тот рокот и вой,
Глядит умирающею совой.
Колхозные дали — куда ни взгляни —
Колышут колосья высокой волны,
И шум на полях молодой, трудовой,
И солнце, как пламенный часовой.
И каждый рабочий и весел и рад,
И жизнь золотой надевает наряд.
Лишь, сумрачно глядя в кипящую ширь,
Весь в древность ушедший, молчит монастырь...
А здесь — в нашем мире борьбы и побед —
Не крошится камень, не гасится свет!

* * *

Старый мир мне не знаком,
Я его не знаю ран.
Что мне вспомнить о таком,
Где все сумрак, все туман?
Но когда гляжу в глаза
Матери моей седой, —
Воскресает он, грозя
Смертью, сумраком, бедой.
Старый мир мне не знаком,
Я его не знаю ран,
Но в зрачке ее слепом
Он оставил свой туман.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕВЕЦ

Старик певец, старик певун,
Сдунь пыль-печаль с сердечных струн.
Взгляни из-под нависших век,
Как жизнь светла, как весел век.
Встряхни свой саз, зажги свой взгляд
И песню взвей — живому в лад.
Страна сильна, повсюду свет,
Оружье найдено от бед.
Сады — в цвету, поля — в труде,
Голодных глаз — нигде, нигде.
Возьми свой саз, зажги свой взгляд
И песню взвей — живому в лад!

ПРИМЕЧАНИЯ

В 4-й том Собрания сочинений вошли стихотворения и поэмы 1941—1963 годов, а также переводы.

Стихотворения и поэмы публиковались в следующих книгах Николая Асеева, журналах и газетах:

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. В раздел Великая Отечественная собраны стихотворения, печатавшиеся в книгах Н. Асеева: «Первый взвод», Гослитиздат, М. 1941; «Пламя победы», «Советский писатель», Л. 1946; «Избранные стихотворения и поэмы», Гослитиздат, М. 1947; «Избранное», «Советский писатель», М. 1948; а также в коллективных сборниках, журналах и газетах за 1941—1945 годы.

2. Раздумья, «Советский писатель», М. 1955.

3. Лад, «Советский писатель», М. 1961.

4. Самые мои стихи, Издательство «Правда», М. 1962.

5. В раздел Стихи из послевоенных книг собраны стихотворения, печатавшиеся в книгах Н. Асеева: «Разнолетье», «Советский писатель», М. 1950; «Избранные стихотворения и поэмы», Гослитиздат, М. 1951; «Избранные произведения в двух томах», Гослитиздат, М. 1953; «Памяти лет», Гослитиздат, М. 1956; «Самое лучшее», «Молодая гвардия», М. 1959; «Стихотворения и

поэмы в двух томах», Гослитиздат, М. 1959; «Лад», «Советский писатель», М. 1963; а также в коллективных сборниках, журналах и газетах за 1945—1963 годы; ряд стихотворений публикуется впервые по рукописям, хранящимся в архиве Н. Асеева.

ПОЭМЫ

1. Урал, газета «Труд», 1 января 1943 г.

2. Пламя победы, журнал «Новый мир», № 5-6, 1945.

3. Поэма северных рек, журналы «Новый мир», № 3, 1951 и «Октябрь», № 11, 1951.

4. Поэма о Гоголе, «Раздумья», «Советский писатель», М. 1955.

ПЕРЕВОДЫ

Избранные переводы Н. Асеева печатаются по следующим изданиям:

1. *Адам Мицкевич* (1798—1855) — Собрание сочинений в пяти томах, том 1, Гослитиздат, М. 1948; Избранные произведения в двух томах, том 1, Гослитиздат, М. 1955.

2. *Юлиан Тувим* (1894—1953) — Избранное, Гослитиздат, М. 1946.

3. *Владислав Броневский* (1897—1962) — Избранное, Издательство иностранной литературы, М. 1961.

4. *Тарас Шевченко* (1814—1861) — Собрание сочинений в пяти томах, томы 1 и 2, Гослитиздат, М. 1955.

5. *Павло Тычина* (р. 1891) — Сочинения в двух томах, том 1, Гослитиздат, М. 1960.

6. *Карел Яромир Эрбен* (1811—1870) — Баллады, стихи, сказки, Гослитиздат, М. 1948.

7. *Ян Неруда* (1834—1891) — Избранное в двух томах, том 1, Гослитиздат, М. 1959.

8. *Федерико Гарсиа Лорка* (1899—1936) — Избранное, Гослитиздат, М. 1944; Избранная лирика, Гослитиздат, М. 1960.

9. *Самед Вургун* (1906—1956) — Избранные сочинения в двух томах, том 1, Гослитиздат, М. 1958.

10. *Ованес Шираз* (р. 1914) — Н. Асеев, Высокогорные стихи, «Советский писатель», М. 1938.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Великая Отечественная (1941 — 1945)

Лад

(1961)

Самые мои стихи

(1962)

Стихи из послевоенных книг

(1945—1963)

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

Адам Мицкевич (с польского)

Асеев

Николай Николаевич

Собрание сочинений

том 4

Редактор *Н. Крюков*

Художественный редактор
Ю. Васильев

Технический редактор
З. Евдокимова

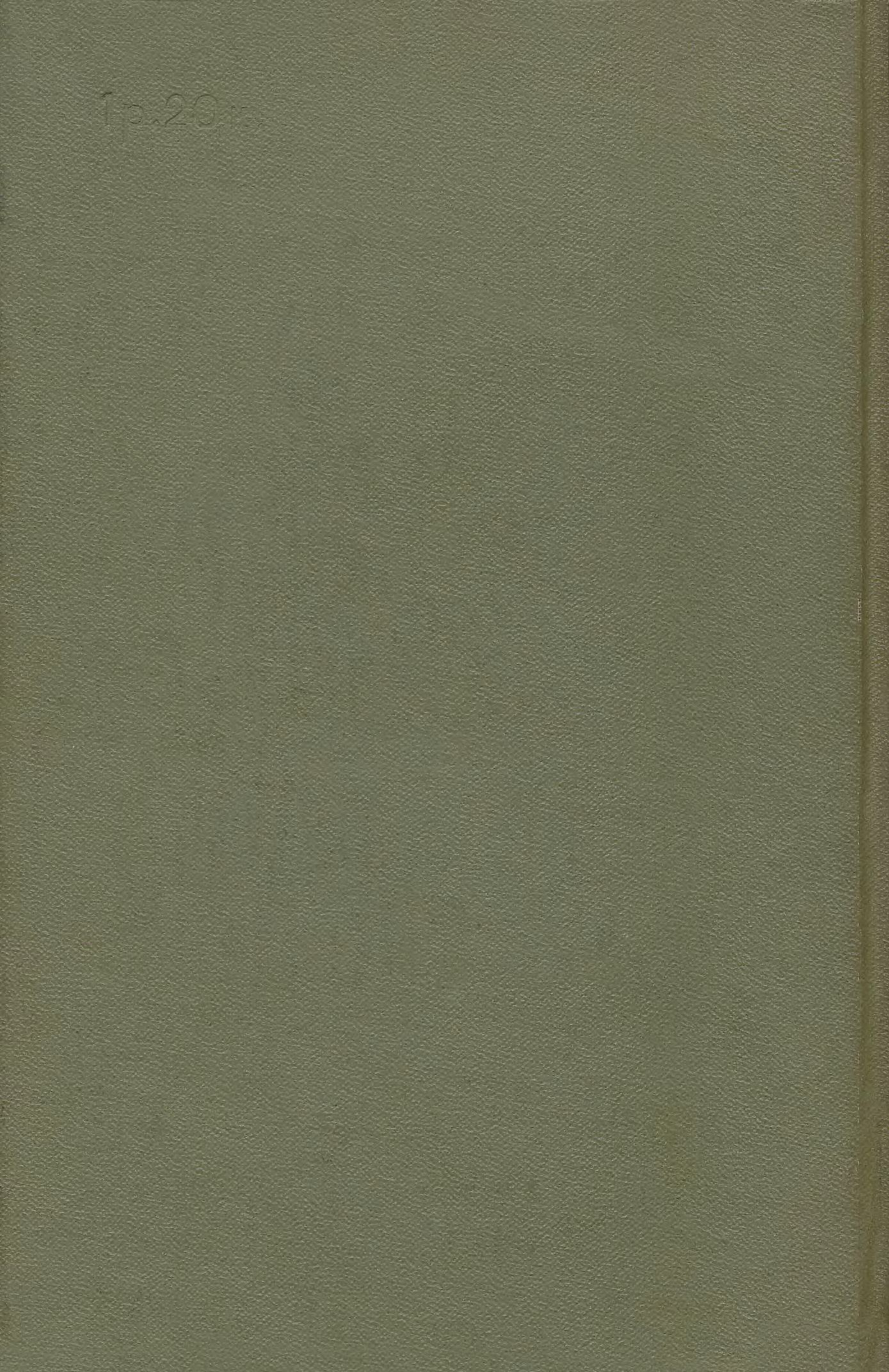
Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 20/IV 1964 г. Подписано к печати 21/VII 1964 г. А05360. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$=18,5 печ. л. 30,34 усл. печ. л. 22,23 уч.-изд. л. Тираж 27 000 экз. Зак. 1019.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература».

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.


1 р. 20 к.